



ВОПРОСЫ

ЛИТЕРАТУРЫ

В НОМЕРЕ:

**Копенгагенская встреча
деятелей культуры**

**Текущие заботы
литературной критики**

Как изучался Щедрин

В. Каверин. История
«Литературной Москвы»

**В. Шаламов. Неопубликованные
заметки и письма**

**Московский дневник Р. Роллана
(Окончание)**

ЖИЗНЬ ИСКУССТВО КРИТИКА

КОПЕНГАГЕНСКАЯ ВСТРЕЧА ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В начале марта 1988 года под Копенгагеном, в музее современного искусства «Луизиана», проводилась международная конференция. Ее тема — «Роль творческой интеллигенции в процессе реформ в Советском Союзе и перспективы на будущее», ее цель — разобраться в многообразных явлениях культурной перестройки. Помимо датских писателей и славистов, на ней присутствовали с советской стороны — Ю. Афанасьев, Г. Бакланов, Г. Белая, А. Герман, В. Дудинцев, С. Есин, Я. Засурский, Н. Иванова, Ф. Искандер, О. Попцов, М. Шатров; со стороны писателей русского зарубежья были приглашены — В. Аксенов, Б. Вайль, К. Любарский, А. Синявский, Е. Эткинд, в дискуссиях приняли участие А. Гладилин, Л. Копелев, М. Розанова и др.

Это событие вызвало широкий общественный интерес, подробно освещалось зарубежными средствами массовой информации, сообщала о нем и наша пресса. Конференция, действительно, была не обычна: впервые в истории нашей страны состоялась столь представительная встреча советских и эмигрировавших писателей. Впервые шел деловой, конструктивный, в целом доброжелательный разговор; часть высказанных в нем предложений и пожеланий (и читатель это отметит) уже претворилась в реальность.

Конференция в Дании длилась три дня, обсуждалось множество вопросов, главным из которых представляется вопрос об единстве русской культуры XX века. Тема эта уже поднималась на страницах журнала, и нам хотелось бы продолжить ее обсуждение. Из многочисленных и объемных документов встречи мы отобрали преимущественно то, что непосредственно связано с этим вопросом. Идя на вынужденные сокращения, мы старались сохранить суть и слог каждого

доклада. Приглашаем наших читателей подключиться к дискуссии и высказать свое мнение столь же прямо, как это сделали ее участники.

Копенгагенская встреча состоялась благодаря целенаправленным усилиям датских славистов. Большая работа зарубежных ученых по изучению и пропаганде русской культуры у нас, к сожалению, мало известна. Поэтому, прежде чем перейти к докладам участников конференции, мы предоставляем слово ее организаторам, которые кратко введут читателя в существо своего благородного дела.

Др. М.-Л. МАГНУССОН, научный сотрудник Института по изучению Востока и Запада

Исследования в области славистики ведутся в трех датских университетах: в Копенгагене, Орхусе и Оденсе. В 1973 году был создан Южноютландский Университетский Центр в г. Эсбьерг, шестой по счету и самый молодой университет Дании. По инициативе профессора Торкиля Кристенсена, бывшего министра финансов Дании и генерального секретаря Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, в вышеназванном Университетском Центре был создан институт, получивший название Института по изучению Востока и Запада (в настоящее время он называется Институт имени Торкиля Кристенсена). В основе проекта профессора Кристенсена лежало убеждение, что Дания должна интенсифицировать изучение СССР, Восточной Европы и их отношений с Западом. По его убеждению, институт, в котором сотрудничали бы ученые из разных областей науки, заинтересованные прежде всего в изучении современной ситуации в упомянутых странах, значительно расширил бы сферу деятельности старых университетов, занимающихся в основном изысканиями в области славянской филологии.

В течение шестнадцати лет с момента основания Института его сотрудники вели интенсивную исследовательскую работу и опубликовали ряд книг и статей о политическом, социальном, экономическом и культурном развитии Советского Союза и стран Восточной Европы в послевоенный период. Одним из первых мероприятий Института было проведение конференции по поводу широкоизвестной спорной теории конвергенции, популярной в 60—70-х годах. Результаты дискуссий на конференции были опубликованы в книге «Будущее Восточной Европы». Общее редактирование книги осуществлялось Андреасом Ёргенсеном, бессменным руководителем Института со времени его основания и ректором Южноютландского Университетского Центра в течение ряда лет.

Теория конвергенции основывалась на сравнительном анализе двух общественных систем: на Востоке и на Западе. Сравнительный метод исследования характерен для большинства научных работ, изданных Институтом. Одновременно публикуются работы, анализирующие внутреннее развитие отдельных стран Восточной Европы и Советского Союза. Для примера можно привести следующие работы: Маргит Нильсен «Венгрия — экономика и реформа» (1978); Стивен Сампсон «Плановики и крестьяне. Изучение человека в процессе урбанизации Румынии» (1982); Сёрен Рисхёй «Чехословакия. История коммунистической партии — экономические и политические проблемы» (1986); Оле Нёргорд «Политика и реформы в Советском Союзе — от Хрущева до Горбачева» (1985).

Среди научных работ, уделяющих особое внимание сравнению экономики Востока и Запада в их развитии, а также торговле между ними, следует упомянуть публикацию Енса Ёргена Енсена «Советский Союз в мировой экономике» (1983); работу Фредерика Питцнера Ёргенсена «Специализация и кооперация в СЭВ» (1983); публикацию Сёрена Рисхёя «Советский Союз и западноевропейская экономическая интеграция. Переговоры между Общим Рынком и СЭВ» (1984); работу Маргит Нильсен «Дания и восточно-западная торговля» (1984). Для такой небольшой страны, как Дания, желающей идти в ногу с международным экономическим развитием, знание об экономическом положении стран Восточной Европы имеет жизненно важное значение.

Не менее важное значение имеет знание о факторах, обуславливающих политические отношения такой великой державы, как Советский Союз, с Западом. Соотношение между внешней и внутренней политикой Советского Союза было предметом анализа ряда работ нашего Института. В этом отношении следует упомянуть сборник «Советский Союз и мир» (1983) под редакцией Хр. Майланда-Гансена и Оле Нёргорда, в котором анализируется функционирование политической системы, национальные проблемы, экономическая роль армии и другие внутригосударственные факторы, имеющие существенное значение для внешней и оборонной политики Советского Союза. В «Дневнике из Чернобыля» (1986) Марта Лиза Магнуссон и Оле Нёргорд анализируют работу советских средств массовой информации по оперативному ознакомлению населения с фактами, касающимися атомной катастрофы в Чернобыле. Деятельность советских средств массовой информации во время чернобыльской катастрофы рассматривается в тесной связи с функционированием советской системы принятия решений руководящими органами. В книге Яна Топа Кристенсена «Изменение отношений между США и Западной Европой» (1987) описаны и проанализированы взгляды СССР на отношения между США и Западной Европой. На основе этого

автор освещает предпосылки советских инициатив в отношениях с Западом.

Институт также организовал исследовательские поездки для своих ученых и журналистов в Советский Союз: Сибирь, республики Средней Азии и Прибалтики. В результате этих поездок появился ряд публикаций. В качестве примера можно назвать сборник под редакцией Енса Ёргена Енсена и Марты Лизы Магнуссон «Сибирские перспективы. Статьи о современной Сибири» (1983), а также труд, изданный под редакцией Евы Хылинской, — «Советская Средняя Азия. Традиции и изменения» (1984).

Немалую долю в исследовательской работе Института занимает изучение культуры Восточной Европы и Советского Союза. Советская творческая интеллигенция играет в советском обществе значительную роль в распространении информации о социальных, экономических и духовных процессах и проблемах страны. В своей работе «Почва и прогресс. Три романа об изменениях в советской деревне» (1981) Марта Лиза Магнуссон показала, что художественная литература может быть источником сведений о последствиях процессов индустриализации и модернизации в социально-психологической и культурной сферах советского общества. Автором одной из трех анализируемых ею книг является Валентин Распутин. В 1986 году была опубликована докторская диссертация Марты Лизы Магнуссон под заглавием «Пограничные ситуации в повестях Валентина Распутина». Это была первая в Скандинавии диссертация, посвященная здравствующему советскому писателю. За год до этого под редакцией М.-Л. Магнуссон вышел сборник, озаглавленный: «Книга в Советском Союзе. От писателя к читателю». Ряд датских исследователей написали в ней о различных аспектах книгооборота в СССР, то есть о процессе выхода книги в свет, о ее распространении, о подготовке читателя к ее восприятию.

Институт провел ряд конференций с участием ученых из Скандинавии, Восточной и Западной Европы, а также из США. Последней по времени конференцией такого рода было международное совещание в мае 1987 года, проведенное при поддержке Скандинавского комитета по изучению Советского Союза и Восточной Европы, работающего под патронажем Совета представителей Скандинавских стран. Темой конференции было положение в Европе. На основе проведенных там дискуссий вышла книга под редакцией Енса Ёргена Енсена, озаглавленная «Европа на повороте» (1988). В книге содержатся материалы и доклады о развитии отношений между Западной и Восточной Европой, с одной стороны, и Европой и США — с другой, а также оценка влияния Советского Союза на будущее развитие Европы.

Одна из постоянных функций Института — выпуск периодического издания «Окно на Восток». Его основными

читателями являются представители деловых кругов Скандинавии, школьные и университетские преподаватели. Над изданием работают ученые ряда Скандинавских стран.

Проф. Э. СТЕФФЕНСЕН, председатель Союза датских славистов

Изучение русской культуры и литературы, классической и советской, занимает видное место в исследовательской деятельности датских славистов.

Первый вклад датских ученых в исследование русской литературы был сделан уже в 1882 году профессором славянских языков Копенгагенского университета Каспаром Вильгельмом Смитом, опубликовавшим работу «История русской литературы от времен Петра Великого до начала XIX века». Шестью годами позже, в 1888 году, появились в печати «Русские впечатления» известного критика и исследователя культуры Георга Брандеса. Книга Брандеса сыграла значительную роль в ознакомлении датских читателей с крупными мастерами русской литературы XIX века, особенно в области прозы.

Большим событием не только в датской и скандинавской, но и в международной литературоведческой славистике явилось издание в середине этого века монументальной трехтомной работы профессора Ад. Стендера-Петерсена «История русской литературы». На датском языке эта работа впервые была опубликована в 1952-м и переиздана в 1970 году. Кроме того, она напечатана также на английском и немецком языках. Три тома охватывают литературный процесс в России с конца X века по Октябрьскую революцию 1917 года. В предисловии автор глубоко сожалеет о том, что был не в состоянии одновременно выпустить четвертый том, где было бы прослежено развитие литературы советского периода. Он пишет, в частности: «Советская литература и условия ее развития представляют собой такое сложное явление, что компетентное и объективное изображение его требует предварительных и тщательных изысканий».

Требование объективности и компетентности, сформулированное в этих строчках, оказало большое влияние на последующее развитие датской литературоведческой славистики, как в области изучения досоветской русской литературы, так и советской.

В 1953 году профессор Карл Стиф своей работой о русских былинах внес значительный вклад в изучение древней русской литературы, а в 1961 году появилась в печати наиболее обширная на тот момент работа о влиянии Тургенева на датскую литературу, написанная Йоханом Фьордом Енсенем, «Тургенев в духовной жизни Дании. Художественные особенности датского романа 1870—1900». В 1967 году появи-

лась первая научная работа, целиком посвященная творчеству отдельного русского писателя: Эйгиль Стеффенсен написал исследование «Идеал и действительность в искусстве Гоголя. Анализ основных проблем творчества». В 1977 году Кель Бёрнагер издал книгу, глубоко анализирующую еще мало исследованное творчество Елены Гуро. В 1983 году появилась новая значительная работа по изучению русской литературы. Была издана монография (и одновременно докторская диссертация) литературоведа Петера Ульфа Мёллера «Отзвуки «Крейцеровой сонаты». Лев Толстой и вопросы пола в русской литературе 1890-х годов». Книга вышла на датском языке в 1983 году и на английском в 1988 году. Последним по времени существенным вкладом датских ученых в изучение крупных русских писателей и критиков XIX века является большая монография Анмартинна М. Бройде, опубликованная в 1986 году под заглавием «А. В. Дружинин. Жизнь и творчество».

Ряд работ появился и о Достоевском. Упоминания заслуживают книга Карла Стифа «Русский нигилизм. Фон романа Достоевского «Бесы» (1969); работа Кнута Гансена «Достоевский» (1973); книга Пребена Вилладсена «Человек из подполья и Раскольников» (1981).

В 1982 году появилась книга Эйгиля Стеффенсена «Чехов на пороге. Художник, действительность, мечта». Особое внимание в ней уделяется прозе Чехова.

Что касается советской литературы, то после появления труда Ад. Стендера-Петерсена она стала предметом тщательных исследований датских славистов. Среди работ, посвященных отдельным писателям, наиболее заметными являются монография П. Альберга Енсена о Б. Пильняке (1979) и монография Христиана Майланд-Хансена о театральной эстетике Мейерхольда (1980).

Среди более скромных по объему монографий следует упомянуть работу Рагны Грёнгорд о «Конармии» И. Бабеля (1979) и книгу Пера Дальгорда о функции гротеска в работах Василия Аксенова (1982).

Были написаны также и книги, содержащие обзоры целых периодов советской литературы. Кель Бёрнагер и Хелле Дальгорд издали в 1976 году книгу под заглавием «Портрет десятилетия. Советская проза в 1965—1975 гг.». Ян Гансен в 1987 году опубликовал книгу «Деревенская проза в русской советской литературе в 60—70-х гг.».

О современной русской критике профессором Эйгилем Стеффенсеном была написана книга: «Современная русская литературная критика. От Плеханова до Лотмана» (1973). Как видно из заглавия, книга представляет собой обзор литературно-критических теорий. Журнал Союза датских славистов «Свантевит» издал в 1980 году под редакцией профессора Эйгиля Стеффенсена специальный том, озаглавленный «Современная советская литература», а в 1988 году

Э. Стеффенсеном была написана и опубликована книга о перестройке в советской литературе и ее предпосылках. Книга называется «Перестройка сверху. От холодов к оттепели в советской литературе».

Культурные связи между Данией и Россией (а затем Советским Союзом) были главной темой научной конференции, состоявшейся в Шеффергордене под Копенгагеном 25—27 сентября 1984 года. Официальное название конференции было «Культурные связи между Скандинавией и славянскими странами в XIX и XX веках». Инициатором этого важного культурного мероприятия, в котором участвовали исследователи из Скандинавии, славянских стран и Западной Европы, был профессор Кнут Рабек-Шмидт, член оргбюро Международной ассоциации по изучению и распространению славянских культур (МАИРСК).

2—4 марта 1988 года в Дании в музее «Луизиана» состоялась конференция о литературе и перестройке в СССР.

Проведению конференции предшествовал целый ряд встреч между датскими и советскими писателями. После вступления советских войск в Афганистан в декабре 1979 года Союз датских писателей прервал официальные контакты с Союзом советских писателей. Но весной 1986 года были установлены новые контакты: по приглашению представителя датской инициативной группы, литературоведа Лунда Нильсена делегация советских писателей посетила своих датских коллег в Орхусе и Копенгагене.

Развивая эту инициативу, делегация датских писателей и датских ученых, изучающих советскую литературу, прибыла в Москву в феврале 1987 года. Союз советских писателей помог им установить контакты и провести ряд встреч с выдающимися советскими писателями, главными редакторами литературных журналов и другими представителями культуры.

Все эти встречи оказались очень удачными и прошли под знаком гласности и перестройки. В результате возникла идея организовать новое, гораздо более широкое совещание датских и русских писателей в Дании, где советские участники получили бы возможность встретиться и провести дискуссии с приглашенными туда же русскими писателями, живущими за рубежами Советского Союза. Благодаря успешному сотрудничеству с Союзом советских писателей, с самого начала с интересом и одобрением отнесшимся к этой идее, датская сторона смогла организовать эту встречу писателей, о которой можно получить всесторонние сведения из приводимых ниже документальных материалов.

Реальная картина литературного развития 60—70-х годов парадоксальным образом не совпадает с историей общественной и социальной жизни СССР в те же годы: сегодня их повсеместно называют временем «застоя». Действительно, неподвижность, консерватизм, кастовое расслоение, отставание экономики, промышленности — все это было. И одновременно была литература, которую жадно читали люди и которая помогала им жить. Когда сегодня говорят, что литература подготавливала перестройку,— это правда. И подготавливала ее не та литература, которая писала о производственных конфликтах,— она-то как раз была самым слабым звеном литературы; самой острой оказалась литература внешне неподвижная, устремленная на первый взгляд в прошлое, в сторону старой деревни или народной жизни времен второй мировой войны. Острой была и литература, посвященная нравственным конфликтам современного человека, часто казавшимся частными, семейными, бытовыми.

Я имею в виду прозу В. Быкова и В. Распутина, В. Шукшина и Ю. Трифонова, Г. Бакланова и В. Астафьева и многих других писателей. Именно благодаря их усилиям литература «застойного» времени не была «застойной» литературой.

Как же это могло осуществиться?

Для того чтобы понять феномен литературного развития последних двадцати лет, необходимо отойти немного назад, прежде всего — в годы Великой Отечественной войны. Тогда многим писателям казалось, что война смела всю накипь, все уродства социальной жизни, что победивший народ после войны вздохнет свободно и осуществит все, что задумано на счастье, во имя счастья человека. Великую очистительную силу Отечественной войны Борис Пастернак, например, видел в том, что война всколыхнула все устои бытия, все перевернулось и готово уложиться наново — так, как об этом мечтали люди, пядь за пядью отвоевывая у врага свою многострадальную землю.

Но этого не произошло — не произошло в самой реальности, и потому литература, где был исследован внутренний, экзистенциальный опыт человека, приобретенный им во время величайшей трагедии народа,— не получила развития. «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой были расценены как попытка «дегероизировать» советскую действительность. Резкая критика по их адресу означала, что в этом направлении спокойного, нормального пути развития — нет.

Но, хотя подчас и кажется, что погоду в литературе послевоенных лет делали такие лакировочные произведения, как «Кубанские казаки» и сочинения С. Бабаевского, нельзя путать события литературной жизни и развитие литературы.

В суете литературной жизни послевоенных лет слащавый, нарочито идиллический голос С. Бабаевского или А. Софронова действительно звучал громко — но благодаря усилиям критики, как мы сейчас точно говорим, «обслуживающей» критики. Были люди, которые со страниц всех газет уверяли читателя, что лживая версия о жизни народа, который в это время страдал и мучился от недорода и засухи, от несправедливых порядков в сельском труде и деревне, — это и есть правда. Мало кто этому верил...

И уж тем более не об этом думали и не эту псевдонародную жизнь пытались понять те, кто вскоре пришел в литературу и занял в ней господствующее место. К середине 50-х годов был завершен роман «Не хлебом единым» (1956) В. Дудинцева; в 1957 году появилась повесть Ю. Бондарева «Батальоны просят огня»; в 1959 году вышла в свет повесть Г. Бакланова «Пядь земли»; в 1957 году В. Солоухин напечатал «Владимирские проселки», а А. Твардовский — главы из поэмы «За далью — даль». В 1959 году были написаны «Коллеги» В. Аксенова, положившие начало «молодой прозе», в том же году К. Симонов опубликовал роман «Живые и мертвые», который принято считать началом новой волны военной прозы.

Иначе говоря, к моменту XX съезда, который откровенным разговором о сути сталинского режима и рассказом о злоупотреблениях сталинского времени вызвал сильнейший мировоззренческий кризис, который только может пережить человек, мы имели литературу, которая ставила своей целью дать полное, глубокое и правдивое изображение жизни. Ожидалось, что искусство пойдет по этому пути — и пойдет без помех. Ожидалось, что будут сняты барьеры и на пути к изображению событий прожитых лет, и на пути к пониманию экзистенциального опыта человека. Для того чтобы понять, как много это могло дать советскому искусству, достаточно вспомнить, что в 1955 году был почти завершен роман Б. Пастернака «Доктор Живаго», что в 1955—1960 годах был создан роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Величайшие книги были созданы на путях свободы творчества, глубокого проникновения в психологию человека и драматические процессы истории.

Но к середине 60-х годов это движение приостановилось. 1963—1964 годы — условная веха, которой мы датируем начало эпохи «застоя» (на самом деле он начался значительно раньше).

Означает ли это, что иссякла и литература, только было набравшая силы?

Не означает.

Но она и не была равна себе, прежней: она могла развиваться и должна была развиваться в новых условиях, не способствовавших свободе творчества. Эта подцензурность наложила на литературу серьезнейший отпечаток. Деформи-

ровались условия писательского труда, литературной жизни. Писатели были стеснены рамками догм, им многое приходилось говорить на эзоповом языке. Деформация литературы — одна из самых серьезных сторон литературы исследуемого периода (мне уже приходилось писать об этом — см. статью «Перепутье» в журнале «Вопросы литературы», 1987, № 12).

Можно сказать, что литература вновь попала в сложнейшую ситуацию: она заговорила о глубинах народной жизни в момент, когда общественная жизнь вновь начала деформироваться; она выдвинула как высочайшую ценность чувство достоинства личности в период, когда права этой личности то и дело попирались. Крик В. Шукшина «Что с нами происходит?», его оскорбленное человеческое достоинство, выплеснувшееся в рассказе о бюрократизме вахтерши, не пропускавшей посетителей к больным без всяких на то прав (смотри рассказ «Кляуза»), — все это обнажило трагическую глубину проблем, поднятых прозой 60—70-х годов, и стоицизм ее авторов.

Эта проза была отчетливо полемична. Глаз художника переместился из эпицентра исторических потрясений — на периферию: это была полемика с прежней сосредоточенностью литературы преимущественно на авангарде, активно революционном слое общества. Когда стал главенствовать интерес к уходящему поколению — старикам и старухам, — это тоже была полемика, потому что писателям важно было утвердить общенародную, общечеловеческую нравственную позицию, поставить вопрос о традиции и ее важной роли в обществе. Главное же — своим глубинным интересом к судьбе народа, интересом к составляющим его типам, утверждением духовной незаурядности «старинных» героев и В. Распутин, и В. Белов, и В. Астафьев, и многие другие писатели восстанавливали гордое самочувствие человека из народа — того самого человека, который вынес и тяготы революции, и бедствия коллективизации, и трагические беды войны, но так и не занял того места в обществе, на которое он имел право претендовать — и как человек вообще, и как член социалистического общества.

Но не забудем: у деревенской, военной прозы 70-х годов были сложные отношения с современной жизнью; обращение к давней истории России в исторических романах, у «деревенских» прозаиков было формой критики современности; моральная проблематика в произведениях этих писателей выростала из современного им «застоя», но решать ее приходилось методом «бокового видения», как говорят фотографы, — противопоставляя несправедливой жизни людей, процветающих в годы застоя благодаря нарушению морали, — светлый образ людей-«праведников». Не имея возможности писать о современности напрямую, литература пыталась всеми возможными способами раскрыть внутренний смысл эпохи. Можно сказать, что во второй половине 60-х годов родилась

дилемма: понять внутренний смысл эпохи или описать ее? Это значило, что столкнулись литература иллюстративная и истинно художественная. Описание мира предполагало подход к миру извне, обслуживание заданного тезиса, лозунга, априорной идеи, а стремление понять эпоху с ее экзистенциальной стороны было ориентировано на особую поэтику, где в центре стоял органический художественный образ, выношенный в свободной душе художника. Жизненное явление раскрывалось в его внутреннем содержании, писатель стремился уловить закономерности жизни, а не предписывать ей заданные цели, которым должно было следовать развитие действия.

Скоро стало ясно, что литература 60—70-х годов обманчиво проста: Аксенов не просто писал о современном герое, но предлагал определенное миропонимание со своим кругом ценностей, где много значило личное самоутверждение, сознание своей исключительности и где чувство личности порой отрицало достоинства других людей — старших поколений во всяком случае. И Распутин создавал свою систему нравственных ценностей, имел свой нравственный кругозор, в котором, как, впрочем, у всех «деревенских» прозаиков, много значили праведный труд, память о нравственном укладе русского общинного мироустройства, чувство личного достоинства и совести, врожденный такт и доброта: все это Распутин искал не в сегодняшнем дне, и это оказалось впоследствии крайне важным для его развития (как и для развития его единомышленников). Определенный круг ценностей имела и военная проза, ярчайший представитель которой — В. Быков — в повестях «Мертвым не больно», «Сотников», «Круглянский мост» и других ставил проблемы нравственного выбора и ответственности, создавал ситуации, в которых ведущей была нравственная альтернатива «честь или бесчестье», и не скрывал того, что в его прозе речь идет о коллизиях, проходящих через жизнь каждого современного человека. Юрий Трифонов, который приобрел широчайшую известность своими повестями «Обмен», «Предварительные итоги», «Другая жизнь», строил свою нравственную систему, то моделируя ее по образу и подобию старых революционеров («Отблеск костра»), то на простом бытовом материале ставя вопросы о смерти («Другая жизнь»), о взаимном непонимании людей («Долгое прощание»), о замене нравственных ценностей на суету сует («Обмен»).

Сегодня легко увидеть, что перед нами было несколько потоков в развитии литературы, что их внешнетематические различия скрывают в себе нечто большее — разное миропонимание, что они различаются между собой концептуально — по художественно-философском прочтении действительности и человека, но что они — одновременно — сходятся между собою в направленности на экзистенциальные проблемы. Когда в ряд сильных писателей вступили

грузинские прозаики О. Чиладзе («русский Маркес», как часто о нем говорят), Ч. Амирэджиби (его роман «Дата Туташхиа», может быть, самый сильный философский роман в советской литературе последнего времени), стало ясно, что не только вопросы Совесть, Добра, Долга занимают нашу литературу, но и вопросы Зла, Рока и др.

Вероятно, надо открыть переходы, найти родство там, где раньше мы видели только перегородки, исключаящие общность. Необходимо по мере сил уничтожать изоляцию между отдельными потоками художественного развития, а не усугублять ее.

И тогда мы увидим, как по-новому выглядит картина советской литературы 60—80-х годов.

Сегодня мы впервые читаем «Доктора Живаго» Б. Пастернака и «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана, «Белые одежды» В. Дудинцева.

Сегодня миллионы советских читателей открывают для себя не изданных ранее А. Платонова, М. Булгакова, Е. Замятина, А. Ахматову. Эти художники дали нам объемный взгляд на человека, их книги написаны в защиту личности человека и его свободы, они вскрывают скрытый смысл хода истории и рассказывают о вечных проблемах человеческого существования.

Мы не только читаем их — мы понимаем их язык, язык глубокой экзистенциальной проблематики. Это заслуга той прозы, которая в тяжелейших человеческих условиях писала о том, чем жив человек. И как бы ни были велики потери, нанесенные ей деформирующими обстоятельствами, будем благодарны ей за то, что она сумела сделать не благодаря обстоятельствам, а вопреки им.

Ефим ЭКИНД

...Пришла новая эпоха, наступило «время собирать камни», как говорил Екклесиаст. И вот, начав собирать, мы убеждаемся в том, что раскидали их на огромном пространстве, а некоторых уже и не найти.

Что же мы натворили?

Советская эра началась с провозглашения разрывов. Используя фразу Ленина о двух культурах внутри каждой национальной культуры, начали с провозглашения непримиримости таковых. «Есть две национальные культуры в каждой национальной культуре. Есть великорусская культура Пушкинчиков, Гучковых и Струве, — но есть также великорусская культура, характеризующаяся именами Чернышевского и Плеханова». «...Мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и ее социалистические элементы, берем их только и безусловно в противовес буржуазной культуре...» («Критические заметки по национальному вопросу», 1913).

Уже и ленинская идея не отличалась нюансами, однако отдадим ей должное: Ленин, человек образованный, признавал и за идеологическим противником право на обладание культурой. Его не в меру усердные почитатели поставили эту вторую культуру в кавычки: могут ли у эксплуататоров быть поэты или мыслители? Из всех программ обучения, на всех уровнях, выкинули таких «ничтожных эстетов и махровых реакционеров», как Тютчев, Фет, А. К. Толстой и даже Достоевский. Русская живопись, если она не была похожа на социально-обличительные полотна передвижников, третировалась и изгонялась в музейные запасники; о «Мире искусства» принято было отзываться с пренебрежением. О той части русской культуры, которая ушла в эмиграцию, и не упоминали: мало кто в СССР слышал имена Шагала, Ларионова, Серебряковой, Гончаровой, Сутина, Михаила Чехова, Тэффи, даже Ремизова, Ходасевича, Цветаевой и Замятина. Если случалось назвать кого-нибудь из них, то с непременным добавлением: отщепенец, изменник, белоэмигрант.

А тех, кто жил дома, поделили на своих и чужих, или, как принято в тюремно-лагерном мире, на социально близких и социально чуждых. Близкими оказались писатели пролетарские, вроде Демьяна Бедного, Дорогойченко, Чумандрина, Ильи Садофьева; чуждыми были остальные, названные двусмысленным словом «попутчики»: ими оказались «Серапионовы братья», и Эренбург, и Олеша, и Пастернак. На Первом съезде писателей разыгралась комедия объединения — дело консолидации овец поручили волку... Этим занялся А. А. Жданов, человек, которого можно было бы назвать Сатаной русской культуры, если бы этому холопу пристало высокое имя Князя Тьмы. Никого Первый съезд не объединил; достаточно вспомнить, с какой яростью набросились на Бухарина, высоко оценившего поэзию Пастернака, обиженные стихотворцы из другого лагеря: Сурков, Демьян Бедный, даже Кирсанов.

Сурков с пафосом говорил о «суровом и прекрасном понятии **ненависть** (продолжительные аплодисменты)». Тех, кто забывает о ней, Сурков называет носителями «лимонадной идеологии», которые издеваются над искусством. Жданов с привычной озлобленностью обличал империалистическую псевдокультуру Запада и, предписав русской литературе отныне для всех обязательный, Сталиным одобренный «социалистический реализм», подменил настоящее единство единомыслием, точнее, единогласием писателей, подавленных идеологическим и полицейским террором и согласившихся на капитуляцию.

Неподходящие, те, которые могли бы это эфемерное «единство» нарушить, были так или иначе изъяты: одни ушли «в никуда, а другие в князья»; многие были отстранены от участия в литературе. 30-е да и 40-е годы прошли под знаком липового «единства». Некоторые писатели пытались

проявить собственную, чуждую общепринятой, эстетику, но их быстро отодвинули в тень или устранили; так было с Заболоцким, с Платоновым, с П. Васильевым.

Первый съезд был переломом в литературной истории нашего века. До съезда роились группировки, бранившиеся между собой, претендовавшие каждая на гегемонию и чуть ли не на диктатуру, но они — были, все эти «Кузницы», «Перевалы» и даже «Обэриу», и они сосуществовали с РАПП и ВАПП, в 1934 году остался один Союз советских писателей, объединивший, так сказать, политико-эстетических единомышленников, остальных же приговорили к исчезновению. То «объединение», которое не вполне удалось в 1934-м, было завершено в 1937—1938 годах, когда в лагерях оказались сотни — как будто около шестисот — писателей.

Прошло более пятидесяти лет. Мы отдаем себе еще смутный, но уже все более определенный отчет в том, что натворило поколение наших отцов, которые так охотно твердили строки Некрасова:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть...

да и мы сами, нередко прятаящиеся за незнанием и молодостью, им помогли.

Сейчас идет процесс, который для литературы обладает небывалой, феноменальной значительностью: процесс возвращения. Многих из нас ничем не удивишь: мы, читатели из чудом уцелевшей горстки элиты, знали и раньше почти всех, чьи тени возвращаются сейчас с того света. Все равно, знали мы их или нет, прочесть в советском журнале «Котлован» Платонова, «Реквием» Ахматовой, «Мы» Замятина — это значит взглянуть на эти произведения глазами наших детей или тех наших сверстников, которые все открывают впервые. Есть и другие читатели журналов: они называют наши потрясения «некрофилией» (это слово бросил Петр Проскурин). Каким неистраченным запасом ненависти надо обладать, чтобы назвать любовь к истерзанной родной культуре извращенной похотью к мертвецам!

Тени возвращаются отовсюду. Например, из остракизма, куда их отправили, уничтожив лишь часть их произведений, правда наиболее существенную: так возвращаются Булгаков с «Собачьим сердцем», «Роковыми яйцами», «Записками на манжетах» и «Багровым островом», даже и с «Мастером и Маргаритой», уже двадцать лет назад опубликованными не без нелепых и, в сущности, постыдных купюр; Платонов — с «Ювенильным морем», «Чевенгуром» и «Котлованом»; Пастернак — с «Доктором Живаго»; Василий Гроссман — с романом «Жизнь и судьба»; Юрий Домбровский — с «Факультетом ненужных вещей»; Александр Бек — с романом «Новое назначение». Другие возвращаются из полного небытия, в самом зловещем смысле этого слова — из преисподней. Это — Николай Гумилев, Николай Клюев; это обэриуты

Александр Введенский и Николай Олейников, даже Даниил Хармс, еще недавно изгнанный в детские считалки...

Возвращается Николай Клюев — не сразу: сперва вышла книжка в Малой серии «Библиотеки поэта», потом стали одна за другой публиковаться вещи побольше, а недавно и «Погорельщина»... Возвращается Максимилиан Волошин. Возвращается Николай Гумилев, который, как недавно пояснили документы, был зря расстрелян — ни в каких заговорах он, по-видимому, замешан не был: пока что он вернулся с крохотной пачкой стихотворений, — ждем собрания его сочинений, давно опубликованных на Западе.

Есть еще одна категория возрождаемых писателей — это те, кто имел прочно ортодоксальную советскую репутацию и, казалось бы, прожил жизнь, ничего не замечая вокруг. Теперь многомиллионный читатель России узнал их поближе — они, эти так долго молчавшие поэты, оказывается, могли бы вместе с Анной Ахматовой сказать: «Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл, — Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был». Так могли бы сказать о себе и Ольга Берггольц, и Борис Слуцкий, и Ярослав Смеляков: их стихи, опубликованные в течение последних месяцев в «Знамени» и «Новом мире», изменяют представления о них, — место, которое им до сих пор в советской литературе отводилось, оказывается неверным. А уж о Твардовском и говорить нечего: его последняя поэма «По праву памяти», появившаяся, в нарушение всех публикационных правил, почти одновременно в двух журналах, открывает нам другого Твардовского, и теперь необходимо передумать и переписать его творческую биографию. Сходные соображения относятся и к Александру Беку.

Русская поэзия наших дней обогатилась стихами недавно реабилитированных после, к счастью, сравнительно короткого ostrакизма Владимира Корнилова, Семена Липкина, Инны Лиснянской, в прозе же займет подобающее ей место Лидия Чуковская, чье имя было под запретом полтора десятилетия.

Толпа теней хлынула в Россию из Франции и Америки. Среди них писатели разных масштабов и достоинств, но каждый по-своему значителен: от Бунина и Куприна до Аверченко и Дона Аминадо, от Марины Цветаевой до Ирины Одоевцевой, от Бальмонта, Георгия Иванова, Ходасевича до Вячеслава Иванова и Адамовича, от Замятина и Ремизова до Набокова, от Игоря Северянина до Кузьминой-Караваевой. Еще ждут своего часа Мережковский, Алданов, Зинаида Гиппиус, Борис Поплавский, Илья Зданевич, многие, многие другие. Уже своими сочинениями стали, кажется, возвращаться и живые изгнанники: первым опубликован Иосиф Бродский. А ведь за пределами России пишут по-русски прозаики Фридрих Горенштейн, чей роман «Псалом» недавно

ошеломил французских критиков («Не он ли Достоевский нашего века?» — спрашивал журнал «Нувель обсерватор»), Борис Хазанов, Феликс Розинер, Лев Копелев, Василий Аксенов, Владимир Войнович, Георгий Владимов, Анатолий Гладилин, пользующиеся своеобразным успехом у специфической публики Эдуард Лимонов, Юрий Мамлеев, поэты Наум Коржавин, Анри Волохонский, Лия Владимирова, Наталья Горбаневская, Ирина Ратушинская, Василий Бетаки, Константин Кузьминский. А ведь я не назвал еще таких крупных мастеров, оказавшихся в эмиграции, как недавно умерший Виктор Некрасов, классик военной прозы, как много и плодотворно работающий в русской литературе Андрей Синявский, как Александр Солженицын. Всех их вышвырнула за свои пределы Россия той эпохи, которая мягко названа «застоем»; что ж, мы к эвфемизмам привыкли: если кровавую тиранию окрестили вегетарианским сочетанием «культ личности», то можно двадцатилетие гниения, бессовестной коррупции и бездарнейшего холопства успокоительно назвать «застой». Пожалуй, никогда еще даже в Советской России искажение истинных пропорций не достигало такого безобразия, как в эту эпоху; достаточно вспомнить, какой фимиам курили в газетах и журналах лауреату Ленинской премии по художественной литературе, косноязычному и, вероятно, даже малограмотному Брежневу, возведенному в ранг крупнейших художников слова стараниями литераторов, которые и сегодня возглавляют в СССР критику и литературоведение, и какими бранными определениями сопровождали имена Солженицына и Синявского.

А ведь именно критикам и литературоведам предстоит сейчас колоссальная работа: толпы теней и живых талантов, вернувшихся в русскую литературу, обязывают пересмотреть все, переписать историю в соответствии с открывшейся и каждый день открывающейся правдой. Еще не напечатаны «Несвоевременные мысли» Горького, но они уже стали достоянием советских граждан, — ведь уже в пьесе Шатрова «Брестский мир» Горький, к удивлению рядовых зрителей, произносит монологи из этих своих антибольшевистских очерков, публиковавшихся в газете «Новая жизнь»; не ясно ли, что настоятельно необходимо пересмотреть агиографию, которую столько лет сочиняли Б. Бялик и А. Овчаренко?. Всему миру, кроме советских читателей, известны письма Короленко Луначарскому — не пора ли переписать и биографию Короленко? Опубликованы (на Западе) антиреволюционные статьи Л. Андреева. И ведь задача не в том, чтобы добавить несколько фактов в давно написанные книги: нужно переосмыслить, передумать литературный процесс. Можно ли приблизить к истине насквозь лживую, от первой до последней строки фальсифицированную книгу П. Выходцева о совет-

ской литературе? С ней следует поступить так, как поступили с «Кратким курсом»: сдать в макулатуру и забыть.

Г. Белая на дискуссии в редакции «Вопросов литературы» справедливо осуждала «прямолинейное отождествление литературы и политики... [оно] фактически перечеркнуло все, что было достигнуто советской литературой за ее двадцатилетнюю историю» («Вопросы литературы», 1987, № 9, стр. 41—42). Другой участник той же дискуссии, Вадим Ковский, назвал имена писателей, исчезнувших из литературного процесса: это не только эмигранты Ремизов и Замятин, но и С. Клычков, П. Романов, С. Третьяков, Ю. Слезкин, А. Соболев, Н. Никитин, К. Вагинов, А. Чаянов. Многие из них — жертвы террора. Но в искажении истории повинна не только полиция — еще отвратительней роль сервильной критики. Тот же В. Ковский привел пугающий список: «...нет ни одной монографии о Б. Пастернаке, но три — об Анатолии Иванове; нет ни одной монографии об О. Мандельштаме, но пять — о Г. Маркове...» (там же, стр. 35).

В связи с этим списком необходимо высказать одно соображение принципиального характера. И об А. Белом, и о Б. Пастернаке, и об О. Мандельштаме монографии появились — но не в СССР, а на Западе; например, о Мандельштаме: помимо двухтомных воспоминаний Н. Я. Мандельштам — мемуарная книга Э. Герштейн, исследования Ральфа Дутли о Мандельштаме и Франции, Никиты Струве о творческом пути Мандельштама, Кирилла Федоровича Тарановского и Омри Ронена о поэтике Мандельштама, книга о поэтике позднего Мандельштама недавно умершей Ирины Семенко (называю только книги — статей многие десятки, по-русски и не по-русски). Что известно о них в Советском Союзе даже специалистам? Почему эти книги не стали достоянием русских исследователей и читателей? Ведь не только русская литература представляет собой целостный процесс, но и наука о литературе должна быть единством — независимо от места издания. Разумеется, у каждого из авторов названных монографий собственная точка зрения на эстетику и политику; что ж из этого? А ведь до сих пор, несмотря на все перестройки, каждую из этих научных книг надо провозить в Советскую Россию, как героин: совершая уголовное преступление.

Только за самое последнее десятилетие на Западе вышли многочисленные исследования, которые непременно должны участвовать в общем движении научной мысли. Почему авторы, работающие во Франции, Германии, США, читают работы Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, М. О. Чудаковой, А. С. Саакянц, С. С. Аверинцева и даже сочинения П. С. Выходцева и Г. П. Бердникова, а русские ученые, живущие в СССР, не имеют доступа к русским и иноязычным книгам, вышедшим на Западе? Б. М. Гаспаров опубликовал в Америке

отличный труд «Поэтика «Слова о полку Игореве»; он должен был бы продаваться в книжных магазинах Москвы и Ленинграда. Так же, как и другая монография, вышедшая в США, — М. Г. Альтшуллера о «Беседе любителей русского слова»: «Предтечи славянофильства в русской литературе» («Ardis», 1984). Чем опасны для Советской власти литературоведческие сочинения А. Д. Синявского — хотя бы его замечательная книга «В тени Гоголя»? Или другая — о В. В. Розанове? Пищу для раздумий доставила бы более чем спорная, но во многом блестящая книга Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского».

Мы призываем к восстановлению исторической **правды**, требующей понимания целостности литературы. Однако понимание единства процесса должно распространяться и на всех нас, делающих русскую литературу и размышляющих о ней на Востоке и на Западе, даже на Ближнем Востоке. К счастью, жизнь уже опровергла знаменитую формулу Редьярда Киплинга:

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места
они не сойдут,
Пока не предстанет небо с землей на страшный
господний суд...

Они уже сошли с места, Запад и Восток. Они сошли с места, когда московские журналы опубликовали прозу и стихи Набокова и стихи Иосифа Бродского, интервью Андрея Тарковского и даже Михаила Шемякина, когда газета «Московские новости» напечатала некролог Виктору Некрасову. Они сошли с места, когда эмигрантские журналы («Синтаксис», «Время и мы», «Страна и мир», «Форум») стали с надеждой и сочувствием комментировать сдвиги, происходящие в интеллектуальной жизни Советского Союза (в то время как другие еще по-прежнему kloкочут от ярости — «Континент», «Вече», «Вестник РХД», но это судороги прошлого, как и внезапное награждение П. Проскурина высшим советским отличием). Запад и Восток сошли с места, когда в мае 1987 года Андрей Синявский, Иосиф Бродский и Томас Венцлова оказались за одним «круглым столом» с Андреем Битовым и Олегом Чухонцевым. Они сошли с места и в марте 1988 года, когда в Копенгаген съехались русские литераторы с Востока и Запада для обсуждения судеб единой русской литературы.

Многие поколения советских школьников изучали один из главных текстов русской литературы «Письмо» Белинского Гоголю.

Школьникам сообщалось немало о различных обстоятельствах эпохи, вызвавших появление этого письма. Об одном, однако, никогда не сообщалось — откуда и куда это письмо было направлено. Между тем оно проделало в почтовой карете не такой уж и большой путь: из Мариенбада, где было написано, до Баден-Бадена, где было прочитано. Громовой разряд русских мыслей произошел между двумя германскими курортами минеральных вод.

Школьникам многих поколений в Советском Союзе этот скромный факт из истории отечественной словесности показался бы возмутительным кощунством. Даже ведь и сама ситуация восемнадцатилетнего пребывания Николая Васильевича Гоголя за рубежом не очень-то освещалась. Отечественная литература не подразумевалась за пределами отечества.

Между тем российская литература вне России подразумевается и произрастает в несравненно большей степени, чем литература, скажем, американских экс-патриотов, связанная с именами Хемингуэя и Генри Мюллера.

Так как именно сейчас, в последние год или два, российский читатель начал знакомиться с кириллицей, возникшей посреди латыни, уместно будет сказать здесь несколько слов о неизвестном пока еще широким кругам феномене хотя и скромного, но вполне мужественного проживания российского романа за пределами СССР в 70-е и 80-е годы.

Рамки короткого выступления не позволяют мне подробно остановиться на романистах, заявивших о себе еще на родине, таких, как Александр Солженицын, Абрам Терц, Владимир Максимов, Владимир Войнович, Георгий Владимов, Аркадий Львов, Анатолий Кузнецов, Анатолий Гладили, Фридрих Горенштейн, а также и ваш покорный слуга. В известной степени эти писатели принадлежат к традиционному типу русского литературного эмигранта.

Между тем рядом находились творческие силы, о существовании которых никто не подозревал. Эти романисты «там» себе места и не искали. Они покинули Советский Союз, чтобы **начать**.

Группу эту трудно классифицировать по возрастным параметрам, хотя бы уж потому, что к ней принадлежит (если не возглавляет ее) такой новый романист, как участник Отечественной войны философ Александр Зиновьев. На Западе он оказался наиболее плодовитым, создав в короткий срок впечатляющую галерею книг, полных парадоксов и сарказма. Вопрос о том, находятся ли его книги в рамках нашего жанра или они только пересекают романические

пределы, является, разумеется, особой темой.

Не менее плодovit оказался на Западе и другой ветеран, Юз Алешковский, хотя и его интересные книги нередко либо выходят «за», либо не достигают пределов того, что мы подразумеваем под жанром современного полифонического романа, именно в силу их монологичности.

Основная группа новых русских зарубежных романистов, однако, состоит из людей либо ниже, либо чуть выше сорокалетнего рубежа. Признанным ее лидером, хотя бы по части стиля и работы с языком, является наш второй вермонтский отшельник Саша Соколов.

Ко времени выезда из СССР он, сын генерала, был асоциален. Промышлял в лесничествах, сидел сычом, сливался с природой.

Для Саши Соколова природа — это не литературный материал, а среда обитания. Русопятости в адрес природы не замечалось за ним даже на березовых холмах Вермонта; он писатель авангардный. Возьмите для сравнения его прозу и прозу Распутина. От последней, особенно от ее пейзажей, веет солидностью, земской образованностью. Соколовский пейзаж, особенно в романе «Между собакой и волком», выскакивает дикими петухами из-под сапог, переворачивается мерзлым колодцем в глазах утопленника, полосками огня вдруг проносится через неумеренную шевелюру романа.

Для авангардного романиста характерно отсутствие раз и навсегда выбранной манеры, то есть постоянный поиск. Третий роман этого не очень-то плодovitого, танталистически стремящегося к совершенству автора вообще развешан вне городов и весей, а в пространстве чистого, хотя и непристойного, воображения.

Роман «Палисандрия» построен в эмпиреях, взращен без комков грязи на корнях, как гидропонический помидор, оторван от благоухания помойки, именуемой современностью, несмотря на то, что в нем фигурируют и Берия, и Брежнев.

Со стороны можно предположить, что абстрагирование от реальности, то есть упомянутая выше «гидропоничность», является не просто авторским побегом как таковым, определенным периодом, игрой ума, но результатом эмигрантского опыта, попыткой преодолеть утрату среды. Однако для построения подобного рода гриновских, гофмановских, андерсеновских декораций с проскальзывающими тенями персонажей совсем не обязательно быть эмигрантом. Постигая эмигрантский опыт наших предшественников, и прежде всего Николая Васильевича Гоголя (с негативной стороны), я пришел к выводу, что писатель меньше всего должен страдать от потери национальной аутентичности. В эмиграции именно погоня за национальной аутентичностью может привести к утрате среды. Роман, как часть писательской жизни, не может не отразить всех ее обстоятельств: как прежний

опыт оставленной родины, так и каждодневную жизнь нового дома. Романист в эмиграции — это своего рода амфибия: у него работают не только легкие, но и жабры.

В этой сфере амфибиозного существования наиболее успешным оказался Эдуард Лимонов. При всей вздорности идей и ляпсусах вкуса, это был именно он, кто открыл галерею русского эмигрантского романа 80-х годов; может быть, даже создал его своеобразную, если не превратную эстетику.

Прежний, советский опыт отражается в сочинениях романистов этой группы с разной степенью интенсивности и, как ни странно, вне зависимости от стажа отрыва. Сочинения израильского старожилы Юрия Милославского читаешь с ощущением, будто автор только вчера покинул «просторы родины чудесной».

Географические границы русской литературы благодаря новым романистам оказались расширенными, причем расширенными не с помощью туристических, чаще всего неверных наблюдений, а с угла зрения человека, как раз и живущего в этих расширенных границах. Так происходит в романе «Ниоткуда с любовью» парижанина Дмитрия Савицкого, где естественно переплетаются опыт прежний и опыт нынешний, перемешивается фарцовочная, стукаческая, пьяная Москва с хипповато-клошарным анархическим Парижем.

То же происходит и в романе «Соотечественники» Михаила Федотова, где с полной непринужденностью чередуются сцены в ленинградской хирургической клинике и в артиллерийской батарее среди ливанских холмов, в зале таможни канадского аэропорта и в палатках туристов-дикарей возле Сухуми.

К числу наиболее заметных явлений последних лет следует отнести прибавление к группе писателей, «уехавших, чтобы начать», романиста Сергея Юрьенена. Среди прочих достоинств здесь прежде всего вычерчивается новый герой, соединивший в себе отголоски западных и отечественных мифов. В какой-то степени Караев из «Вольного стрелка» осуществляет связь времен, соединяя «оттепельного» чайльдгарольда с молодым человеком конца 70-х, «лишним человеком». При всей своей кажущейся немыслимости, этот «вольный стрелок», странствующий гидальго спецслужбы с его мучительным эротизмом, суицидными поползновениями, с мечтой о растворении в дзэн-буддизме вполне правдоподобен. Зарубежные романисты открыли для жанра эротическую сферу, и в этом отношении «Вольный стрелок», с одной стороны, как бы бьет все рекорды, не умалчивая ни о чем, а с другой стороны, удивительным образом всегда точно проходит по краю кювета, не заваливаясь в похабщину ради похабщины.

Иными словами, порнография романа — то есть того, что нам представляется достойным этого слова, — не является

порнографией как таковой, но лишь одним из строительных материалов романа-города. Точно так же соотносится роман и с политикой. Если роману ничего не нужно от политики, он оставляет ее в покое. Если же ему что-то от нас нужно, он берет, не спрашивая. Роман не может быть ни антисоветским, ни просоветским, ни даже нейтральным; без всякого высокомерия он просто принадлежит к другим измерениям. Смешно, но роман не может также быть и правдивым; без вранья засыхает.

К названным выше новым именам зарубежного русского романа мы можем прибавить еще не менее дюжины. Здесь и Феликс Розинер с его «Некто Финкельмайер», и Александр Антонович с «Многосемейной хроникой», и Зиновий Зинник с «Русской службой», и Давид Маркиш с серией исторических романов, и недавно появившийся Леонид Итцелев, и Александр Суслов, и Василий Агафонов, и, уж конечно, плодовитый и популярный Эфраим Сивела, и автор бестселлеров Эдуард Тополь... Чреват романом и один из наиболее заметных авторов эмиграции, прозаик модного в Америке «минималистского направления» Сергей Довлатов.

Словом, если уж и говорить о жанрах эмиграции, то роман из всех наиболее живуч. Для того чтобы предположить, откуда берется эта живучесть, стоит отступить чуть-чуть подальше — к концу 60-х и началу 70-х.

До сих пор еще многие удивляются, как случилось, что дерзкие поэтические трибуны «оттепели» прекрасно стали уживаться с брежневским социализмом, тогда как романисты того времени оказались в полнейшей или частичной конфронтации с режимом. Скорее всего дело тут не в личных качествах поэтов и прозаиков, а в специфике жанров. Монолог стиха легче уживается с социализмом, чем многоголосие романа.

Когда Достоевского называли «певцом капитализма», имелась в виду, конечно, не прибавочная стоимость. Современный полифонический роман недаром возник в России после 1861 года, то есть в период интенсивного развития плюрализма. Бахтин предполагает, что возникновение этого рода современного эпоса вообще невозможно вне контекста капитализма.

Прозаики 60-х годов, пробуждаясь от социалистической стагнации, приближались к полифонической романной форме; вот основная причина их конфронтации с режимом. Новые прозаики, еще не начав, бежали от вновь усиливающегося социализма, спасая свою концепцию полифонии.

Лучше всего сосуществовали с брежневским социализмом писатели-«деревенщики», и это происходило, возможно, как раз из-за того, что их романы не отличались многоголо-

сием, а представляли из себя нечто сродни публицистическим монологам.

Выбирая между социалистической казармой и капиталистическим базаром, современный романист, естественно, выбирает базар. Этим он обеспечивает себе среду выживания, но, увы, не среду процветания. Прежде всего это относится, конечно, к чужакам, беженцам, «беспаспортным бродягам», каковыми являются русские романисты за рубежом.

Несколько названных здесь имен плюс еще несколько случайно не названных создают литературное поколение или плеяду. Появись такая группа зрелых и еще молодых, полных жажды и мастерства романистов в рамках любой национальной литературы, пошла бы речь никак не меньше как о «новой волне». Между тем в силу своей непринадлежности ни к чему, ни к флагу, ни к этносу, ни к мафии, эти писатели прозябают на периферии мировой литературы.

В интеллектуальной среде Запада, возможно, из-за унаследованных от дедушек так называемых «левых идей» в отношении русского романа установился досадный стереотип. Как на Набокова когда-то в Оксфорде смотрели с кислыми минами, полагая, что он все больше насчет отобранных большевиками деревенок хлопочет, так и на современного свободного русского романиста взирают с ухмылкой — дескать, за западной модой тщится.

Псевдомаркесовская вампука берedit ленивых, между тем невежество в отношении событий, происшедших за последние тридцать — сорок лет в России (нет второй литературы в мире, которая прошла бы за это время через такие головокружительные кризисы), делает русские книги трудными, чужими, навязчивыми.

Однако не только этническая, эстетическая или идеологическая чужеродность затрудняют русскому роману жизнь на Западе. В западной литературной жизни — быть может, в Америке это ощущается сильнее всего — вообще возникают в последнее время явления, угрожающие самой сути авангардного полифонического романа. Я имею в виду массовую культуру и массовый книжный рынок.

Желание превратить книгу в «продукт» массового рынка приводит иногда к подлинным кощунствам. Американская литературная интеллигенция в последнее время проявляет по этому поводу все большую озабоченность.

Желание выпустить книгу в виде хорошенькой базарной штучки приводит к упрощению, если не к одурачиванию, текстов. Проводя семинар по роману А. Белого «Петербург» в университете и сравнивая текст оригинала и перевода, я вместе со студентами ужасался бесцеремонностью адаптации: метафоры выкорчеваны, ритм рассеян, антропософия выжата досуха.

В условиях массового рынка, того и гляди, сквозь капи-

тализм начнет прорасти социализм с его неизменным снижением качества или уж по крайней мере со своеобразной новой монологизацией.

Мне кажется, что сейчас в Советском Союзе — я имею здесь в виду, разумеется, советскую романистику — может возникнуть уникальная ситуация, когда ослабнет давление идеологии и не усилится до поры давление рынка. В этом промежутке можно ждать творческого расцвета и появления нового романа.

Пока этого явно не произошло.

Алексей ГЕРМАН

Люди очень интересуются перестройкой. Люди задают нам очень много вопросов. Не скрою, мы тоже задаем много вопросов самим себе и друг другу. Многих людей во всем мире волнует судьба нашей перестройки: что из этого будет, выйдет что-то или не выйдет? Нас, поверьте, эта проблема тоже волнует, и во много раз больше, потому что это — наша жизнь, наше будущее, наша судьба, наша кровь — все. Но будет глупо, если я вас буду клятвенно заверять, что перестройка получится. Я думаю, что сюда многие люди приезжали и клятвенно заверяли, а потом ничего не получалось. Поэтому я попытаюсь просто рассказать о судьбе отрасли, в которой я работаю, и довести этот рассказ до сегодняшнего дня. А дальше вы уже сами судите — на примере этой отдельно взятой и честно рассказанной ее истории — о том, что у нас получается. Мне придется начать с азов, потому что степень вашей осведомленности для меня под вопросом.

Мне около пятидесяти лет. Я из поколения людей, которые стали заниматься своей профессией, то есть пришли в институт, в канун XX съезда партии, в канун исторического выступления Хрущева, где были вскрыты злодеяния Сталина. У нас был набран очень странный институтский курс. Большинство студентов были евреи. Так произошло потому, что в предыдущие годы евреев не брали на эти факультеты, а тут атмосфера в государстве изменилась и многие из них поступили. Мы занимались искусством. Одновременно — и все это еще оставалось от сталинских времен — мы делали этюды, такого, например, содержания: сдавали ребенка для опытов империалистам, то есть как если б в капиталистических условиях жизни родителям пришлось бы за деньги отдать ребенка в лабораторию империалистам. При этом мы знали Достоевского, играли отрывки из Чехова, читали и восхищались Толстым. И одновременно многие мои товарищи были искренне убеждены, что замечательный режиссер Мейерхольд, уничтоженный Сталиным, занимался гнусностями и глупостями и извращал пролетарское искусство. Вы можете меня спросить, как это все могло сочетаться. Я не

могу вам ответить на этот вопрос. У вас этого не было, дай вам Бог.

Но постепенно сознание у людей оттаивало. И на пятом курсе студент, который говорил когда-то о Мейерхольде то, что я сейчас процитировал, просто не поверил бы, что он так считал пять лет назад.

Я пришел в кино в начале 60-х годов. Это было очень интересное время, поразительное. Начинал работать Тарковский. Восхищал всех Хуциев. Рождалось какое-то удивительное кино. Но рядом снимались какие-то чудовищные, идиотические картины. И нельзя было показать коммунальную квартиру. Но тем не менее в кинематографе царила нравственная атмосфера. Тон задавали нравственные художники. Хотя всякого ужаса тоже было полно. Мы работали таким образом: когда-то замечательный преподаватель и режиссер Ромм на вопрос одного студента: «Как мне снимать этот кадр?» — ответил: «Ты его снимай так, как если бы тебе один раз в жизни дали возможность снять один кадр, как будто это дело твоей жизни». И поверьте, мы так начинали работать. Где-то с середины 60-х годов мы перестали понимать, что происходит. Но что-то стало происходить в государстве. Стал уходить кислород. Начинались годы, которые у нас сейчас называют эпохой некоторого застоя или периодом застоя — одним словом, у нас так это стараются определить. А в принципе, можно сказать, что это был период завоевания этого начинающегося искусства казенным искусством. В кинематограф пришло новое начальство, глубоко презирающее художников. Если в предыдущем начальстве были такие, так сказать, деревенские дядюшки, то эти новые были убеждены, что они сами не снимают кино только потому, что им некогда. Потому что у них слишком ответственная работа, чтобы заниматься этой ерундой. Но если бы у них было время, то, конечно же, они сняли бы лучше, чем все эти щелкоперы, которых давно пора гнать. Вот такая приблизительно складывалась атмосфера. Регламентации вводились во все, во что только можно ввести. Как снимать, кого снимать. Ненавидели дожди на экране. Вы можете верить мне или не верить — это ваше дело, но взрослые люди всерьез сидели и высчитывали, сколько луж получилось у меня на экране в фильме «Двадцать дней без войны». Министр мог мне всерьез кричать: «Почему у тебя здесь лужи?» — и я должен был ему говорить: «Ну, налилась, налилась...» Хотя, я должен вам сказать, эту лужу мы специально делали и даже брезент подложили, чтобы она была. Закрывались талантливые картины, изгонялись талантливые художники. Наше кино переставали смотреть совсем. Как это ни странно, но в нашем обществе кино другое, чем в вашем. Кино — это в очень большой степени идеология. А оно идеологически перестало существовать. Потому что деньги в прокате собирали западные картины, самые дурные из них. Зрители

ходили на них, а наше начальство безумствовало и устраивало какие-то всесоюзные премьеры. Наш министр придумал такую форму для иных огромных и очень глупых картин: как солнце идет над Советским Союзом, так должны двигаться премьеры этих фильмов. Но при этом не надо думать, что мы ходили мрачные, печальные и рыдали. Нет, мы веселились, пили водку и почему-то верили, что все это кончится.

Теперь я должен чуть-чуть коснуться своей судьбы, потому что иначе будет непонятно, как все происходило. Где-то в году 82-м я снял фильм «Мой друг Иван Лапшин». Он был жестко, буквально в течение нескольких часов запрещен. Киностудия должна была вернуть государству всю его стоимость. У меня это была вторая запрещенная картина. Всего я их снял четыре. Практически я был выброшен с работы и из творческой жизни, я был уничтожен. Я написал письмо в правительство, на самый верх, и уехал жить на дачу. Я сын известного писателя, и мне было полегче, мне не надо было дворником устраиваться.

Дальше стало происходить что-то таинственное, что — я вам сказать не могу. Вокруг меня стали меняться формулировки. Были, например, формулировки, что с такого кино начиналась Польша. Никто не знал, с чего начиналась Польша, но тут определили, что с меня. И вдруг формулировка эта сменилась: стали говорить, что картина, конечно, дрянь, но давайте все же не будем забывать, что это один из наиболее талантливых наших режиссеров. Где там ходило мое письмо — я не знаю, кому оно попадало на столы, этих людей я никогда не увижу. Но в принципе такие письма у нас раньше исчезали, их можно было писать на туалетной бумаге. А тут, вы понимаете, выпускают мою картину. Ну, может, и случайно, но шум был большой по Москве, когда ее разрешили, да и вообще в Союзе. Проходит какое-то время — мне разрешают вторую картину. Та была запрещена шестнадцать лет.

И я ничего там не переделывал, была она шестнадцать лет назад плохая, полежала — стала хорошая. Как коньяк.

Что я хочу этим сказать? У Ильфа и Петрова есть такая фраза: заяц лежал под кустом, а в это время шли маневры Киевского военного округа, и заяц считал, что вся атака направлена против него. Конечно, мне странно все объяснять на примере одного кинорежиссера, как менялась атмосфера в государстве. Я рассказываю, как я ее ощущал. Потом вдруг в газетах начали ругать наше Госкино за то, о чем все уже давно знали, — что это ужас, что творится. Когда это в первый раз попало в газеты, мы поняли, что человек, который это написал, — мертвец. За год до этого газета «Советская культура» задела сына министра, не министра, а сына министра, режиссера. Было сказано, что, может быть, он не совсем самый хороший. Так газета

потом извинялась не один раз, а два раза, газета писала, что сын — замечательный. И вдруг изруганный кинорежиссер с запрещенными картинами Володя Мотыль пишет в газету «Комсомолка» и несет, несет министра. Такого у нас не бывало с 17-го года. Ну, понятно, что Мотыль — покойник, с ним здороваться даже страшно. Ничего, ничего, и еще одна статья, и еще, и еще — и все пишут. Можно разговаривать! Оказывается, не опасно. А в это время, кому на горе, кому на радость, готовится 5-й съезд кинематографистов. Это было два года назад. Первое дело — это выборы делегатов. Казалось бы, все понятно — киногенералы, кинополковники и для фона несколько киносолдат. Но ничего по этой схеме не получается. Сначала начинается с критики, начинается с дочери министра, которую не выбирают, а потом вдруг, как бывает только в России, вдруг не выбрали всех: главного редактора журнала «Искусство кино» не выбрали, главного редактора журнала «Экран» не выбрали, директора киноинститута тоже не выбрали, ну — я перечислять всех, кого не выбрали, не могу. Выбирают нормальных критиков, честных и делавших все эти годы свое дело, находившихся в загоне, но честно работавших. Их выбирают, а этих всех — вон. А они все и составляют руководство Союза.

Дальше, на следующий день, собираются кинорежиссеры. История повторяется, но в еще более устрашающих размерах. И не выбирают почти никого из предыдущих секретарей Союза. Ни Бондарчука, ни Кулиджанова, никого из наших киновождей. Они — депутаты, они — начальники, они — члены коллегии, они — боги. А их не выбирают просто на съезд, обычными делегатами, нет. Все говорят: ну щас вам всем покажут, щас соберут всех обратно — выберете всех как надо! — во щас будет вам всем... Все ходят решительные и бледные, понимают, что этот номер не пройдет, что все щас вернется. Ничего! У нас такой Матвеев есть, жуликоватый режиссер, так он решил, чтоб его не как режиссера выбрали, а как артиста, но его и там изловили и не выбрали.

А ведь это, товарищи, лауреаты всех премий были, герои соцтруда, это ж сказать страшно! Я видел, как один такой невыбранный уходил, так после него медали минут 15 звенели в коридоре. Вот в таких условиях начинается съезд. Происходит он в Кремле, в зале, где выступал Сталин. Выходят один за одним люди и говорят чистую правду о том, что у нас происходит в кино, что так больше жить нельзя и что с этим надо кончать. Это были замечательные дни. Наш съезд одни называли историческим, другие — истерическим. Но все это происходило в присутствии правительства. На примере этого вы поймете, что происходит в стране, я ничего не вру. Выходят на трибуну какие-то там люди, которые говорят: остановитесь, что вы делаете!

Достоевского читают залу... высиживают... а их изгоняют... хлопает зал и хлопает — и человек не может ничего сказать! Выходит министр, начинает говорить, ему хлопают. Он привык, что ему хлопают, он кланяется, ему опять хлопают, аплодисменты переходят в овацию — министр уходит, что сделаешь...

Считать, что это народное восстание, что это взбучилось, — это значит совсем не понимать нашу страну. Это значит — вот этой группе интеллигенции предложили жить свободно. Надолго или ненадолго — я не знаю. Съезд выбирает свой секретариат, свое правление. И такие люди, как Бондарчук, не прошли. 550, предположим, было всего голосов и из них — 460 против. Потом составили правление, правление выбрало Климова, Климов собрал секретариат — сам назвал этих людей. Все эти люди пользовались абсолютным уважением коллег. Ни одного замаравшего себя человека не было. Первое, к чему приступил съезд, — к выпуску на экран запрещенных фильмов. Их оказалось не один и не два, их оказалось очень много. На одной моей студии было пять. И вот стали появляться на студии режиссеры, откуда-то когда-то выгнанные, давно не работающие, постаревшие, опухшие, с такими же постаревшими сотрудниками. Они пошли в монтажные, получали пленки, начинали что-то собирать, восстанавливать свои картины. Я, что называется, на плаву удержался, но были такие, что по двадцать лет не работали. Вот Аскольдов, сейчас его картина «Комиссар» пошла в Париже, — двадцать лет прошло. Одновременно с этим выпустили все картины, все. Одновременно создавалась другая модель кинематографа. В годы застоя у нас действительно вывели особую и многочисленную породу художников-официантов, режиссеров-официантов — чего изволите, то и принесем. Вот их готовили, их учили, они знали, что это хорошо. Теперь мы сделали что? Мы всех режиссеров уволили вообще.

Сами режиссеры выбрали себе худруков. Художественные руководители образовали маленькие правления с договоренностью, что работать будут только одаренные люди, а не люди, которые готовы выполнить любой заказ начальства: «Чего изволите? вот мы вам принесли, пожалуйста: хотите — о победе реализма, хотите — добавим оптимизма, хотите — подболтаем этого самого, — вот вам!» Нет! Только художники! Все это должно переизбираться каждые пять лет. Мы выбрали директоров студий. Да, вот взяли и выбрали директоров. И через пять лет мы их опять переизберем.

На данном этапе художественным кинематографом управляют сами художники. Есть министр, есть коллегия, есть редактора, все это есть, но я вам даю честное слово, что сейчас дело обстоит так. Правда, когда мои товарищи рассказали это одному известному американскому продюсеру,

тот сказал, что сбылась мечта всех сумасшедших: стать директором сумасшедшего дома.

Может быть, действительно нужно следующее поколение небитой режиссуры для того, чтобы кинематограф воскрес. На последнем пленуме кинематографии А. Медведев, очень такой влиятельный человек, заместитель министра, сказал: «Вы знаете,— говорит,— вот я планы читаю, все вроде неплохо, но что меня немного удивляет: я чиновник и должен был бы бояться вас, ваших планов, а я, представьте себе, не боюсь. Что-то, значит, не совсем то, не так». Вот примерно, вкратце, конечно, как сейчас обстоит дело в кино.

Может быть (эта мысль мне пришла уже здесь), я был раньше выгнанный, уничтоженный, щас я не выгнанный, меня обласкали всячески, наградили и т. д., и, может, с этих позиций лучше смотреть на кино, чем, так сказать, из-под стола. И поэтому, может быть, я нарисовал слишком радужную картину. Но ненамного. Всё.

Ясен ЗАСУРСКИЙ

Моя тема не так увлекательна, как кино. Но сегодня в Советском Союзе можно сравнивать интерес к газетам и журналам с тем интересом, который традиционно связан с другими категориями искусства, такими, как театр, кино и т. д. Интерес очень велик. И это понятно.

После Пленума Центрального Комитета в апреле 1985 года наши газеты, радиовещание и телевидение воплощают в жизнь политику гласности. И они добились важных изменений в отношении к своей аудитории. Я считаю, что в этом много поучительного и полезного для понимания процессов, происходящих в нашей стране. Перестройка, которая имеет место в нашей стране,— это очень сложный, противоречивый и трудный процесс, и средства массовой информации являются важным, если не самым важным, инструментом перестройки, по крайней мере очень важным.

Вы слышали, как перестройка в кино началась с газетной статьи. В газетах, журналах, на радио и телевидении были открыты или разрушены так называемые запретные зоны, а уровень критики и анализа в наших средствах массовой информации резко вырос. Конечно, политика перестройки требует более активного понимания того, что происходит в стране, более точного и всестороннего знания о том, что происходит во всех сферах нашей жизни. Трудности, ошибки, просчеты, преступления, хищения, взяточничество, нарушение социалистической законности, которые имели место в период застоя, были разоблачены благодаря средствам массовой информации.

Конечно, огромные изменения произошли в самих средствах массовой информации. Во-первых и прежде всего, я хотел бы обратить внимание на те изменения, которые произошли на нашем телевидении, которое также стало трибуной критики, где не только журналисты, но и широкая аудитория может активно поднимать вопросы, касающиеся проблем нашего общества. Как пример могу привести программы «Прожектор перестройки», дискуссии за «круглым столом» по экономическим, социальным, политическим и культурным вопросам.

Наше телевидение можно смотреть не только в Советском Союзе, но и во многих других странах, и мы знаем, что телезрители часто предпочитают московские программы, которые не так уж популярны в Москве, своим собственным национальным программам.

В печати публикуются острые дискуссионные выступления, появляется большое количество различных точек зрения, и столкновение их становится важным событием. Существенные перемены произошли в наших литературных журналах, и не только в результате публикации так называемой «ящичной» литературы, но и как результат интересных публикаций критических и особенно публицистических статей Селюнина, Шмелева, Черниченко, Стреляного и др. Эти журналы стали исключительно популярными, их тиражи выросли фантастическим образом.

Изменения произошли в отношении к международным проблемам, хотя мы и хотели бы большего от нашей прессы в этом отношении. Тиражи некоторых журналов, посвященных международным проблемам, таких, как «Новое время» и «За рубежом», не выросли, даже слегка упали. Материалы, дающие информацию о жизни нашей страны, получают больше внимания, чем международные проблемы. И это, пожалуй, отражает изменение настроений в нашей стране.

Перестройка в журналистике в Советском Союзе только началась, она идет с большими трудностями — не всем нравится гласность. Многие руководители, которые подвергаются критике в печати, пытаются использовать так называемое телефонное право — звонят редактору, чтобы остановить критические статьи, но пока нашим журналистам удается сопротивляться этому давлению и они продолжают уверенно работать.

Новое мышление требует пересмотра отношений к международным проблемам. От конфронтации мы хотим перейти к диалогу и партнерству в международной журналистике. И в этом отношении третья советско-датская писательская встреча является примером того, как мы хотели бы развивать наш диалог по самому широкому кругу острых проблем нашей жизни. Перестройка открывает огромные возможности для журналистов, и многие из них пользуются ими,

но тем не менее существуют большие трудности, связанные со старыми традициями, старыми стереотипами и, пожалуй, с тем, что журналисты не всегда способны использовать предоставленные им возможности.

Как отмечал редактор «Московских новостей» Егор Яковлев по телевидению, сегодня журналист может писать о любой проблеме, но трудно найти авторов. Необходимо лучше готовить журналистов. Если вы читаете «Московские новости», вы видите, что Егор Яковлев тем не менее сумел найти авторов для того, чтобы писать об острых проблемах.

Перестройка означает больше демократии, больше правды, больше социализма. И в этом смысле наша журналистика стремится к тому, что наша партия называет социалистическим плюрализмом. Она делает очень важные и уверенные шаги в развитии гласности, так, чтобы наш народ был информирован обо всем самым быстрым образом. Правда, этот процесс идет не так просто, как видно из того, что я уже сказал сегодня.

За последние два года выросло новое поколение журналистов. Это те, что сегодня ведут дискуссии в гостинице «Орленок» о том, какой должна быть журналистика нового типа. В день открытия этой дискуссии один из молодых журналистов, Юрий Сорокин, написал в «Комсомольской правде» статью о том, как трудно быть сегодня журналистом. Когда никто не запрещает тебе писать о проблемах правдиво, возникают трудности, связанные с умением найти и описать эту правду, проявить необходимую смелость и твердость. Это серьезные задачи, с которыми сталкиваются наши молодые журналисты и которые они решают, на мой взгляд, достойным образом.

Клаус РИФБЬЕРГ

Если, как говорят барды, весь мир — это театральная сцена, то датская литература в основном играла свою роль в тени кулис. Однако такая роль не является результатом каких-либо недостатков датской литературы в целом или невысокого качества отдельных произведений. Второстепенная роль датской литературы является результатом сложного взаимодействия самых разнообразных факторов: географических, политических, исторических, социальных и психологических.

Периферийное положение ведет иногда к депрессии, но оно иногда может дать чувство исключительности. И даже если некоторые добродушные иностранцы после интенсивного напряжения памяти не совсем уверенно заявляют, что Дания — это столица Швеции, — даже это, по-моему, мо-

жет стать чем-то привлекательным для нашего датского чувства юмора.

Чтобы дать вам некоторое представление о современной датской литературе, необходимо взглянуть с высоты птичьего полета на все развитие нашей страны, включая и литературу, с самого начала и до наших дней.

История викингов известна всем, и о ней можно не говорить. Но их литературное наследие, вероятно, известно не всем, хотя то, что они нам оставили, стало основой датской письменности и литературы. Недаром на знаменитых Золотых Рогах есть руническая надпись: «Я, Лаэгаэст, сделал эти рога». История этих Золотых Рогов удивительно увлекательна и может дать представление о том, что происходит в голове датчанина, когда он занимается поэзией, историей, книгами. Золотые Рога, конечно, пришли к нам из языческого прошлого, еще перед тем, как Дания приняла христианство около 1000 года нашей эры. В конце XVIII века пахарь случайно наткнулся на них своим плугом, и это показалось чудом. Все это произошло во время господства романтизма в Европе, и датский поэт-романтик Эленшлегер написал знаменитую поэму о Золотых Рогах, и с нее началась волна датского романтизма, принесшего в историю литературы небезызвестного сказочника Андерсена, а также великого поэта-лирика Грундтвига, который одновременно был одним из создателей свободной датской конституции 1849 года и основателем известных народных школ.

Но на этом не кончается история Золотых Рогов. Они были украдены, и событие это, больше, чем какое-либо другое, дало пищу романтическому пламени в воображении писателей и читателей. Боги, как видно, отобрали у людей этот дар, потому что люди недостаточно высоко его ценили. Наказание пришло в форме национального банкротства в 1813 году, а до того — в форме Наполеоновских войн и поражения в битве против английского флота под руководством Нельсона в 1807 году. Тяжелые времена наступили в нашей стране, которая в том же XIX веке еще должна была пережить две военные катастрофы. Немного в ней осталось от духа викингов-завоевателей. Отрезвление после романтических эскапад пришло в Данию. Оно было воплощено в личности критика Георга Брандеса, который пропагандировал европейское мышление, боролся против провинциализма и стал крестным отцом таких великих скандинавов, как Ибсен, Бьёрнсон, Стриндберг и др.

Брандес не только сражался против эпигонского романтизма второй половины XIX века и распахнул двери для больших и важных влияний, пришедших к нам в Данию с континента. Он также установил крепкие связи с литературой Дании времен Людвиг Хольберга и классицистами XVIII века. Великий прыжок в XX век был совершен при помощи Америки, точнее — Уолта Уитмена. В 1906 году

лауреат Нобелевской премии Йохансен В. Йенсен издал сборник стихов, в которых можно найти дух жизнерадостности, аппетита к жизни, характерный для «Листьев травы» Уитмена. Этот сборник Йенсена стал началом наступления модернизма. Экспрессионизм и дадаизм пришли в датскую литературу через десять лет после первой мировой войны, подготавливая почву для того, чем датская литература стала во второй половине XX века.

Для полноты картины следует упомянуть несколько важных факторов. Попытки Брандеса создать новую школу реализма в датской литературе совпали с появлением новых социополитических идей, с основанием датской социал-демократической партии, с кооперативным движением и с широким распространением народных школ для крестьян. Все это привело к тому, что в Дании появилась политически активная художественная литература, которая стала составной частью общего движения против авторитарного консервативного режима, движения за демократическую систему. В связи с этим движением надо указать на многоплановые, крупные, страстные романы Мартина Андерсена-Нексе и на исполненные любви, но одновременно и едко сатирические книги лауреата Нобелевской премии Хенрика Понтопидана.

Наступили 30-е годы XX века. После краха биржи на Уолл-стрит в 1929 году и в годы последовавшей огромной безработицы и экономических лишений для многих писателей было естественным перейти на левые политические позиции, активно участвовать в социальной борьбе. Но даже среди левых писателей были противоположные мнения о том, как проводить эти левые взгляды в литературу — при помощи эксперимента или посредством применения методов политического реализма в искусстве.

Необходимо подчеркнуть, что в те бурные времена наблюдалось усиление оппозиции ужасам фашизма в Германии, которая, как известно, граничит с Данией. Огромная часть датских писателей была против Гитлера и активно боролась против фашизма. Писатели, безусловно, способствовали быстрому развитию датского движения Сопротивления во время немецкой оккупации с 1940 по 1945 год.

Необходимо обратить внимание аудитории на одну очень специфическую черту датской литературы. Я уже упомянул, что в XIX веке у нас имела место борьба между романтизмом и реализмом. Однако следует подчеркнуть, что именно органическое сочетание этих двух, как будто бы противоположных, направлений составляет суть нашей художественной реальности. С одной стороны, мы видим в нашей литературе Георга Брандеса с его рациональным реализмом, с другой — романтика Грундтвига; с одной стороны, мы видим активную борьбу за освобождение человеческого ума, за открытие дверей настежь для заграничных влияний,

а с другой — страстное романтическое желание органически соединить настоящее с прошедшим, требование помнить могучий звук Золотого Рога, в котором заключается сущность датского языка, «живого слова».

Конечно, искусству иногда полезно терять голову. Но даже «высокое» безумие, не поддающееся контролю, всегда приводит к хаосу и анархии. Датская литература не столь иррациональна, как, скажем, Стриндберг или Достоевский, но ей свойственна скрытая ирония, очень привлекательная и оригинальная, но почти не поддающаяся переводу.

Ганс Христиан Андерсен может служить примером в этом отношении. Возможно, что писал он для детей, но его сказки предназначены прежде всего для взрослых. Однако во всем мире его читают дети или детям. И это происходит потому, что большинству переводчиков не удалось передать тончайших нюансов иронии и юмора, заключенных в идиоматике датского языка. В результате его сказки в переводе оказались более сентиментальными и «сладенькими», чем в оригинале. Твердость в мягкой оболочке и нежность в твердой оболочке являются датской спецификой. Много примеров этому вы можете найти и у другого датского гения — Сёрена Кьеркегора.

В этом кроется одно из объяснений того, что лирика в датской поэзии так ярка и оригинальна. В какие бы глубины чувств ни погружался датский поэт, в его произведениях всегда обнаруживается некая смесь иронии и меланхолии, которая придает стихам необычайную утонченность.

После травм и несчастий второй мировой войны датские писатели начали поиски выхода из духовной оскученности и мрака, выраженных в склонности к религиозности и созерцанию собственного пупа. Пульс жизни в их творчестве стал более здоровым, тяжелые тучи были развеяны послевоенным ветром. В литературных произведениях 50-х и начала 60-х годов не было благодушия, в них была энергия, помогшая литературе вырваться из трясины футлярной морали и клерикализма. В произведениях чувствовался прилив гнева (частично импортированный у «гневных молодых людей» Англии) и колоссальный аппетит к жизни, готовность преодолеть травмы прошлого и погрузиться в современность. Была установлена духовная связь с литературными деятелями 30-х годов, боровшимися за политическую свободу и эмансипацию женщин. Представителем этого направления был яркий, оригинальный человек, архитектор и писатель Поуль Хеннингсен, духовный последователь Георга Брандеса. Участие литературы в борьбе против войны во Вьетнаме, в американском и британском антивоенном движении проложило путь к новому политическому радикализму, который достиг кульминации в широком антиконсервативном движении молодежи в 1968 году.

Датская поэзия 60-х годов нашего века отличается боль-

шим разнообразием жанров и широтой охвата жизненных явлений. Наша поэзия движется, как бульдозер, перерабатывая все жанры и течения: реализм, символизм, активизм, конкретизм, новый примитивизм, поп-арт, оп-арт и все, что вам угодно. В настоящее время она приостановилась, чтобы набрать побольше воздуха и, без сомнения, вскорости снова двинется вперед.

Начиная с 1970 года датские женщины врываются в нашу литературу, выходят на литературную арену и создают себе там крепкую трибуну, которую не собираются покидать. И они имеют все основания для того, чтобы остаться в нашей литературе. Особенно такие талантливые писательницы, как Сузанна Брёггер, Доррит Виллюмсен и Кирстен Торуп. За последние десять лет в нашей литературе начали преобладать эпические жанры, особенно роман. Просторы романа подходят нашим писательницам как нельзя лучше. Для примера можно указать на книги писательницы Кирстен Торуп.

Не много найдется писателей-мужчин, способных сравниться по изобретательности, силе темперамента с такими писательницами, как Тони Моррисон, Маргарет Атвуд, Фей Уэлдон, Изабел Альенде и другие. Даже учитывая импульсы новой творческой энергии, идущие из Южной Америки, от русских писателей-эмигрантов, писателей из Советского Союза, надо все же признать, что за последние десять — пятнадцать лет действительно новое слово в литературе было сказано женщинами. Они не изобрели нового литературного стиля или каких-либо революционных литературных приемов. Но они рассматривают жизнь со своей специфической точки зрения и соответственно изображают мир — включая мир мужчин.

Юрий АФАНАСЬЕВ

Я хотел посвятить свое выступление идее всеобщего консенсуса, но с учетом регламента я думаю ограничиться только той частью этой идеи, которая непосредственно относится к нашей встрече, к нашей конференции.

Мне кажется, что эта встреча очень знаменательна в том смысле, что здесь, в этом зале, встретились люди, которые живут в Советском Союзе, и те, которые уехали оттуда (или которых оттуда «уехали»), и представители гостеприимной прекрасной Дании.

История нашей страны, если ее представить в самых основных контурах, — это и величественная, и трагическая, многострадальная история. В самом деле, только в XX веке было три войны, из которых две мировых, причем послед-

няя из них принесла огромные жертвы нашему народу. Но была еще одна война, которая не значится в официальных справочниках и в энциклопедических словарях, — это война Сталина и сталинизма против своего народа. В ней тоже был поставлен рекорд, мировой рекорд по убийству своих. В этом же веке было три революции, одну из которых по праву называют великой. Эта революция представляла собой колоссальный социальный разлом, и она отразилась — это можно говорить без всяких натяжек — на судьбах всего мира, но прежде всего на судьбах народов нашей страны.

Одним из следствий такой непростой, трудной, многострадальной истории является, как мне кажется, и тот факт, что многие мои соотечественники сегодня оказались разбросанными по всему миру. Вот мне и хотелось бы сегодня обратиться к присутствующим, и в том числе в первую очередь — к моим соотечественникам, которые оказались за пределами родины, с призывом к единению. Я хотел бы призвать к консолидации людей, находящихся на самых разных позициях, по-разному оценивающих даже деятельность КПСС, — от эмигрантов (хотя не знаю, насколько удачно это название) до тех, кто никогда и не помышлял об эмиграции, от вполне официальных сторонников советского строя вплоть до тех, кто находится в открытом разрыве с ним и в прямой оппозиции к нему. Я хотел бы, чтобы все эти, даже на разных флангах стоящие люди подумали о возможности единения. Вот на какой почве, вот на какой основе.

Первое положение платформы единения — это признание некой реальности, которая есть в нашей стране и будет в ней оставаться. Это означает просто-напросто, что рассуждения о том, как было бы хорошо, если бы то-то было в истории, а того-то не было, или о том, чтобы наше настоящее было не тем, чем оно является, сегодня просто нереальны, беспочвенны. И такой подход не дает никакого основания ни для спора, ни для разговора. Есть и будет на обозримое историческое время некая реальность. И любые замечания, любая критика должна исходить, как мне кажется, из признания этой реальности, хотя бы в том смысле, в каком ее признает, скажем, Рейган, когда встречается с Горбачевым. То есть как государства признают сам факт существования друг друга.

Но эта реальность — и это второе, и, мне кажется, наиболее или столь же важное положение, — эта реальность в нынешнем ее виде никого не устраивает — ни нас, ни «не-нас». Не устраивает она и руководство нашей партии, и, в сущности, именно поэтому идет в нашей стране перестройка. Идет мучительно, трудно, рискованно-противоречиво, с большим количеством вопросительных знаков. В этом признании существующей реальности, но неудовлетворительной, вернее, не удовлетворяющей нас и требующей

существенных, радикальных изменений, в поддержке вектора перестройки, а не каких-то еще частных и деталей и содер­жится, как мне кажется, основа для единения.

То есть реальность должна быть изменена к лучшему, советский народ должен жить лучше, — в этом мы и должны нащупать точку соприкосновения или точку совместимости.

Мне думается, что, вообще говоря, у советской интелли­генции в этом смысле уже имеется некоторый опыт. Перед отъездом сюда я слушал выступление Лидии Яковлевны Гинзбург — у себя в институте. Она рассказывала студентам о 20—30-х годах, о том, как интеллигенция, по ее наблюде­ниям, относилась к революции, как она потом переживала это свое отношение, как она искала и формировала, вы­рабатывала свою позицию по отношению к революции, — это повествование скоро будет опубликовано в тынянов­ском сборнике. Оно достойно самого тщательного изучения и внимания.

Она говорила, что и до революции, и после революции в головах молодых представителей интеллигенции того времени царил невероятная путаница и сосуществовали, пересекаясь друг с другом, самые разные направления мысли. Она говорила о том, что до революции в головах царил смесь из модернизма, индивидуализма, статей Толстого о ве­гетарианстве и как-то само собой разумелось, что Пугачев — это правильно. А после того ценностный центр, в котором индивидуализм и модернизм скрещивались с народолюбием, расщепился на два центра, сопряженных и противостоящих.

Но то, что до революции представлялось как освобож­дение и как расширение возможностей, сразу вскоре после нее предстало запретом. Л. Гинзбург говорит как раз о тех точках соприкосновения, на которых в прошлом оказалось возможным единение той части интеллигенции, которая пошла за революцией.

В 30-е годы была своя основа для этого единения. Сейчас мы тоже много думаем о консолидации нашего общества. А это очень важно, потому что специфика теперешнего момента, в отличие от того, который последовал за XX съез­дом, заключается в невероятной остроте столкновений и борьбы различных мнений. Чего никогда не было, как мне кажется, после 20-х годов.

Вот в этих условиях мы ищем консолидации, и я с этим призывом обращаюсь и к своим соотечественникам, и не только к ним. Я думаю, не так уж много я возьму на себя, если скажу, что это могло бы означать, что все, каждый по-своему, сохраняя независимость мнений и позиций, должны быть сторонниками, друзьями перестройки. Это, ра­зумеется, не означает апологетики, обязательного согласия со всеми сторонами тех процессов, которые у нас происходят. Тут каждый, естественно, вправе оставить за собой и ого­ворки, и возражения, и разочарованность, и все что угодно.

Но в принципе есть некоторая данность, некоторая реальность, и она стала сдвигаться. И если спросить: вы рады тому, что она сдвигается, то ответ, видимо, будет: да. Иначе, наверное, мы бы не встретились здесь. А раз так, значит, есть возможность это вот «вы» и «мы» в кавычках, по отношению не только к Западу вообще, но и прежде всего к нашей эмиграции, ликвидировать или начать его размывать. А мы вместе, я не скажу русские, но российские люди, россияне, мы хотим, чтобы эта страна демократизировалась, чтоб она становилась богаче и свободнее. Мне кажется, многие из нас вправе помечтать об этом.

Я знаю, что у вас могут быть и недовольство, и настороженность, но ведь и мы не дурачки наивные. И у нас есть недовольство, и оговорки, и настороженность, даже боязнь, что может что-то сорваться. Тут, конечно, важнее всего не единство, — это слово не совсем удачное, — и не консолидация, а вот именно движение навстречу друг другу, нормальный человеческий диалог. И что-то вроде расширения зоны консенсуса.

Я даже думал о возможных формах нашего сотрудничества. Я с большим интересом узнал, что Лев Копелев создал свою научную школу и изучает важнейшую проблему диалога немецкой и русской культур. Тема эта необыкновенно интересна, и у нас в стране большая группа ученых, исследователей, историков культуры, лингвистов, литературоведов давно и удачно работает в этом направлении. В частности, есть у нас замечательный, выдающийся философ Библер, который много пишет о философии Бахтина, и прежде всего о философии диалога. Философия Бахтина в этом смысле, как мне кажется, величайшее достижение нашей гуманитарной мысли, и не только нашей. Ведь Гегель и даже Маркс и Ленин, когда они писали о диалектике, все-таки имели в виду одно сознание, которое по-разному воспринимает какой-то предмет. Что касается философии Библера, то там впервые обоснован глубоко и философски сам факт существования разных разумов, разных мышлений, разных сознаний, которые по-разному воспринимают тот или иной предмет, — а это и есть возможность разного видения в разных культурах разных вещей.

Я думаю, если бы объединить усилия школ советских семиотиков, историков культуры с тем, что делается в школе Льва Копелева, мне кажется, мог бы получиться через какое-то количество лет блестящий результат — конкретное исследование, важное для XX века, о диалогизме мышления народов, наций, культур. Профессор Ефим Эткинд вчера рассказал мне о том, какую работу — огромную, интересную и важную — он ведет по переводу на европейские языки Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого. То, что никогда раньше, в сущности, не делалось, насколько мне известно. Он рассказал также о тех огромных архивных со-

кровищах, которые есть в Западной Европе и которые, кажется, можно было бы опубликовать в серии «Из литературного наследия». Это тоже могло бы быть совместным делом европейских ученых, выходцев из России и советских ученых. Мне кажется, что можно было бы подумать, например, об издании у нас избранных сочинений Набокова, и в частности его лекций о русской литературе, и это тоже могло бы быть совместным предприятием.

До нас докатываются, конечно, отголоски тех дискуссий, которые идут среди выходцев из Советского Союза, и, в частности, нам известно мнение, что, дескать, настоящая литература — это та, которая не имеет тематических, идейных и прочих тормозов и ограничений, то есть литература, которая вообще не имеет внутренних цензоров, и что такая настоящая литература, дескать, возможна только в эмиграции.

Что же касается литературы, издающейся или издававшейся в Советском Союзе, то это якобы какое-то специфически советское явление и оно к литературе отношение, дескать, имеет касательное. А настоящая литература всегда в эмиграции. Такая точка зрения нам известна. Она несправедлива по отношению к тому, что делается в литературе в Советском Союзе.

Конечно, сталинское время надо исключить, потому что оно было временем борьбы с литературой, литература находилась в неравной борьбе с режимом. Если взять только вехи, по десятилетиям, то из этого многое будет ясно. 20-е годы — это обыски у Горького, первая массовая эмиграция, отречение Блока, в 20—30-х годах — травля Есенина и Булгакова и самоотречение Маяковского, в 40-е годы — травля Ахматовой, Зощенко и самоотречение Цветаевой, в 50-е годы — травля Пастернака, Дудинцева, самоотречение Фадеева, и дальше, в 60-е, — травля Бродского, Солженицына.

В 60-е годы — новая волна эмиграции. Генофонд нашей культуры истреблялся в огромных масштабах. Вот такая история. Но в этой истории имело место противостояние советской литературы сталинскому режиму, и литература продолжала в труднейших, тяжелейших условиях оставаться умом и совестью нации. Литература внутри нашей страны до перестройки была зажата цензурой, но она сохраняла некоторые преимущества непрекращающегося контакта с советской действительностью. А там — я имею в виду не у нас, — там хоть и говори что хочешь, но говори на огромной дистанции. Но я думаю, что вот это «вы» и «мы» — это все-таки неправда по отношению к собравшимся здесь. Я думаю, что все хотят блага родине, а это и есть новый вид нового мышления, и пусть эти два новых мышления идут навстречу друг другу.

Однажды прошлым летом, читая в «Новом мире» рассказ какого-то писателя, я вдруг обнаружил, что социалистический реализм кончился или кончается. С этим фактом советскую литературу можно только поздравить. Уж очень много вреда искусству принес соцреализм. Общим образом соцреализма я представляю себе как тяжелый кованый сундук, который занял собою всю комнату, отведенную литературе в качестве жилья. Так что оставалось либо залезть в сундук и жить под его неусыпной крышкой, либо то и дело наталкиваться на этот сундук, ушибаться, падать, иной раз протискиваться с трудом, боком или проползая под ним. Теперь этот сундук все еще стоит, но то ли стены комнаты раздвинулись, то ли сундук перенесли в более просторное и проветренное помещение. Да и сложенные туда облачения как-то обветшали, истлели. Говоря иными словами, каноны и постулаты социалистического реализма настолько устарели или опротивели, что никто из серьезных писателей ими уже не пользуется. Рассыпался в прах идол «кавалера золотой звезды». Надоело развиваться целеустремленно в предустановленную всем сторону. Все ищут обходных путей, а кто и в лес убежал и резвится на лужайке, благо, из большого зала, где стоит мертвый сундук, это сделать легче. Вот этой литературой я сейчас и займусь.

Я не буду касаться знаменитой обличительной прозы, которая, конечно, делает доброе и полезное дело, за что мы все ей признательны. Но честно скажу: реализм в традиционном духе и воспитательные задачи советской и анти-советской словесности меня мало интересуют. Меня занимает проза сегодняшнего дня в менее известных проявлениях, и притом в художественном аспекте. Попытаюсь наметить некоторые общие черты, свойственные этой новейшей прозе.

Первая черта — это усложнившиеся понятия о характере человека, о добре и зле. В рассказе Вячеслава Пьецуха «Билет» с первой же фразы персонаж аттестован так: «бич Паша Божий»... И такое наименование нас ошеломляет. «Бичом Божьим» называли бедствие, наказание, постигшее страну или селение, что тут как будто бы подтверждается явлением бичей-тунеядцев, не желающих работать, этих отбросов общества, преданных проклятию и позору. Однако наш герой, чье прозвище построено на игре слов (бич и Божий), куда выше, благороднее, тоньше, интереснее, нежели честный работяга, выкапывающий из могилы родного отца в надежде найти в кармане покойного потерянный лотерейный билет. Согласно философии Паши Божьего, неудачники, бичи, бродяги, отщепенцы сохраняют нацию от омертвления, от вырождения. Он говорит: «Кто такой был

Иисус Христос, если не самый заправский бич?!»

Как видите, поиски героя, положительного героя, разительно сместились с магистрального пути на обочину истории. Но литература тем и живет, что сходит то и дело с протоптанного большака на обочину.

Другая заметная тенденция в развитии современной прозы — это стремление приоткрыть таинственную фантастичность самой жизни. Ведь беда социалистического реализма сталинской поры, в частности, состояла в том, что Сталин прикрепил писателей к действительности, как некогда крепостных крестьян прикрепляли к помещичьей земле. Одной из форм раскрепощения становится своего рода фантастический реализм как способ более углубленного постижения реальности. Примером такого рода может служить замечательная повесть Михаила Кураева «Капитан Дикштейн» — с подзаголовком «Фантастическое повествование». Строго говоря, ничего фантастического в этой повести не происходит. Но ситуация необычная. Матрос, участник Кронштадтского мятежа, спасая жизнь, называется именем другого, расстрелянного, Дикштейна, которого он почти не знал. И вот теперь он ведет призрачный образ жизни, приспособив себя к чужой, неизвестной личности. Он становится другим: преувеличенно честен, правдив, аккуратен, хотя все это придумано им под влиянием нового красивого имени — Дикштейн. В сущности, сама категория «характер» неприменима к этому составленному из двух людей человеку и вместе с тем как будто не существующему, потерявшему представление о собственной персоне. Это не человек, а мираж. Картины революционной истории сплетаются с мелочами низменной повседневности нашего времени, бессильными заполнить вакуум, образовавшийся на месте души. И даже умирает он как-то странно, словно подражая смерти далекого «однофамильца», хотя в одном случае человека пристрелили, а наш герой через сорок с лишним лет умер мирно, от разрыва сердца, не дойдя до дома с парой бутылок пива. Про обоих сказано: «Падал он уже мертвый». Получается, герой умер дважды.

Сходным образом раздваивается окружающая среда. Гатчину, в которой он теперь проживает, несколько раз переименовывают — то в город Троцк, то в Красногвардейск. То же самое происходит с поселком, откуда он родом: Сергиев Посад превращается в Загорск, по имени революционера Загорского, чье настоящее имя было, оказывается, не Загорский, а Лубоцкий. Это перемигиванье и перекраивание имен под стать ирреальному, мнимому образу жизни нашего героя.

Фантастически двоится быт и архитектурно-исторический образ Гатчины — этого, по выражению автора, ближайшего к столице захолустья: «Слева размеренным царственным шагом ступали куранты истории, а справа сыпался и сыпался

мелкий песок судеб в бесшумных часах вечности...» Да и весь этот город нелепо раздвоен — и в далеком прошлом, и в отдельных постройках, и в общем архитектурном ансамбле. Помимо аналогий с раздвоенной биографией героя, архитектурный рисунок создает образ нескольких временных срезов, совмещенных в единое пространственное целое. В этом Кураев следует гоголевской традиции. Свои словесные построения Гоголь уподоблял ландшафту или архитектуре. Из Гоголя взят и эпиграф повести, ориентирующий на образ пространства и на затейливость, фантастичность человеческой судьбы: «Зато какая глушь и какой закоулок!»

Тут мы подходим к еще одной стороне и проблеме, которые кажутся мне особенно интересными применительно к нынешней прозе. Ряд авторов добиваются того, что можно назвать пространством прозы. Сама словесная масса обладает, оказалось, пространственными параметрами, которые свойственны архитектуре и изобразительному искусству. В повести Вл. Маканина «Отставший» это пространство прозы создается за счет сдвига и пересечения времен. Юродивый мальчик Леша, не подозревая о том, чует золото и периодически отстает от старательской артели. Этой старой легенде вторит современный герой, отставший от любимой девушки. И оба они отстали от лагерного мира, к которому запоздало спешат приобщиться. Отстал ссыльный старик, который умирает, не дождавшись реабилитации. Отстала жена, приехавшая к нему на могилу. Отец героя каждую ночь видит один и тот же мучительный сон, что он отстает от грузовика. И когда автор приходит к Твардовскому в «Новый мир», он опять отстал: Твардовского там уже нет — сняли с редакторской должности. Выходит, все люди от кого-то или от чего-то отстали. И эти отставания накладываются одно на другое, образуя катящееся и расходящееся, как круги по воде, пространство. Это впечатление усугубляется благодаря тому, что ситуации «отставания» по нескольку раз пересказываются, всякий раз заново, с прибавлением новых деталей и версий. Эта притча о жизни и об искусстве, которое, подчас, отставая, натывается на золото, и жизнь петляет по его следам. В наш век ускорений отрадно про такое «отставание» читать. Столь же отрадна смена акцентов: раньше герои советской литературы были «передовыми борцами», а теперь выясняется, что они «отставшие».

Иной способ раздвигать прозаическое пространство с помощью языка предлагает Татьяна Толстая в своих небольших рассказах. У нее богатая, сверкающая и подчас, я бы сказал, развесистая, как дерево, фраза охватывает массу вещей. Порою в одной короткой фразе смыкаются слова и вещи, вырванные из разных пластов бытия: «В день, когда ее похоронили, по Неве прошел лед». Постное масло сравнивается с песком аравийских пустынь. Сближаются охота за мужем (то есть желание выйти замуж) и перво-

бытная охота на мамонта. Словесный мир Т. Толстой прозрачен и, кажется, вот-вот улетит или растает в воздухе. И вместе с тем остро предметен, наполнен колкими образами, вроде: доктор «достал и положил на низкий столик, на стеклянный квадратик длинную, тонкую, тоньше комариного писка иглу». Мир этот странен, загадочен и по-детски экзотичен: «Говорят, на озере видели совершенно голого человека...— И что вы видели? — Всё». Сквозь словесную ткань, сквозь расставленные пальцы фраз пробивается сказка.

Татьяну Толстую иногда упрекают в преизбыточности стиля. На мой взгляд, подобные упреки — это аберрация сознания, которое слишком привыкло видеть литературу, расположенную на плоскости. А у Толстой «преизбыточный» стиль — это мир, который круглится и ширится, это громада проносающейся сквозь человека жизни. Пускай человек маленький и даже жалкий, ничтожный, — мир, который он вмещает в себя — порою невольно, — огромен.

Читая и перечитывая Т. Толстую, догадываешься, что у сюжета и языка произведения могут быть разные задачи. Дело сюжета или фабулы — это держать в напряжении, зажав в руках (в зубах) ум и внимание читателя. А дело языка не только связно и занимательно изложить этот сюжет, но также это внимание расслабить и рассредоточить на иных, побочных и даже порою совершенно посторонних вещах, что и рождает в итоге, в соединении сюжета и языка, поэтический образ нового миропорядка, установленного автором.

Мир Татьяны Толстой прекрасен не потому, что он, как нас учили, отражает прекрасную действительность. Искусство отображает в первую очередь себя. Искусство начинается с загадки. А загадка — всегда остранение. Возьмем простейшую русскую загадку. Что такое: два кольца, два конца, посередине — гвоздик? Подразумевается: ножницы. Однако ножницы не названы, а нарисованы словами и звуками в качестве загадки, в которую мы всматриваемся, которую мы видим (пускай ничего еще не понимая). Ножницы в этом случае изображены остраненно. Искусство видит, что все, абсолютно все вокруг, странно, интересно, уникально, художественно. В этом и состоит прославленная зоркость искусства, а также его доброта, нравственное начало. Искусство видит себя в зеркале действительности и приходит в изумление. Это не самовлюбленность эстета. Это благодарность Богу или природе за то, что при всех неприятностях они сотворили и наполнили мир искусством. Или, как говорит Т. Толстая о герое, который проспал всю жизнь и вдруг прозрел: «он благодарно улыбнулся жизни — бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой — прекрасной, прекрасной, прекрасной...».

В результате у упомянутых авторов (не только у них, конечно, но я выбрал их для примера, в качестве ручейков разбегающейся в разные стороны новой прозы) наблюдается повышенное чувство художественной формы. Спрашивается: куда же пойдет, куда направится дальнейшее развитие современной советской словесности? По счастью, предугадать этот процесс невозможно. Искусство развивается путем неожиданностей, потому что оно само — неожиданность. Но я скажу, чего мне хочется, о чем я мечтаю. Я надеюсь, что должно же все-таки измениться и читательское, и писательское сознание советской современности оттого, что с нею рядом совершенно законно публикуют не изданных ранее или изданных в урезанном виде Пастернака и Булгакова, Набокова и Ахматову, Мих. Кузмина и Хлебникова. Ведь эти публикации не просто восстановление упущенного прошлого и не только исполнение долга по отношению к забытым и гонимым писателям. В конце-то концов, каждый заинтересованный читатель и писатель мог, приложив старания и немного риска, познакомиться с этими текстами и в 50-е и в 60-е годы. Но теперь эти тексты перестали быть криминалом, и публикация этих книг как бы чисто психологически перебрасывает легкий висячий мостик из сегодняшнего и завтрашнего дня в «серебряный век» русской культуры. Из конца века мы перебрасываем мостик к его началу, ко времени расцвета. Разрыв — невероятен. Но может же это как-то видоизменить сам состав крови, текущей в теле культуры. И в первую очередь возродить повышенное ощущение формы, свойственное началу столетия.

В 1925 году Вл. Ходасевич, уже находясь в эмиграции, в свою заслугу ставил:

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

Ходасевич обольщался. «Классическую розу» привили помимо него. Да и не такой уж «дичок» разросся в советской словесности в 20-е годы. Но, пользуясь аналогией, я спрашиваю самого себя: что же еще такое же хорошее остается привить? И отвечаю: к классической советской розе — именно ради усиления чувства формы, появившегося у нее, — надо бы привить «дичок» модернизма и постмодернизма.

Случается так иногда, что в развитии прозы участие принимает поэзия или живопись. В русской культуре начала XX столетия лидировали поэзия и живопись, а проза развивалась медленнее, позднее, и ее прихватил мороз. Нам досталось по крупицам собирать эту прозу, не давшую продолжения в 30-е годы и словно оледеневшую, забитую

соцреализмом. Сейчас эти росточки оттаивают и позволяют судить о размахе искусства, с которого началось столетие. Даст Бог, они пустят побеги на новой почве.

Говорят, что модернизм и авангард уже были и давно прошли. Допустимо возразить: а что, реализм более нов? Да и в XIX веке русский реализм был представлен как минимум двумя направлениями. С одной стороны, Тургенев, Толстой, Чехов — воспроизведение действительности главным образом в правдоподобных формах. А параллельно развивалось искусство, которое для краткости я называю утрированной прозой. Это — Гоголь, Достоевский, Лесков, чьи традиции были подхвачены модернизмом, а позднее такими советскими писателями, как Замятин, Зощенко, Булгаков, Бабель. Эти традиции были насильственно прерваны. И я рад, что они сейчас восстанавливаются.

Пусть сбудется пророчество, зафиксированное клинописью на глиняной табличке в Древнем Вавилоне: «Боги разгневались на Вавилон. Близится конец света. Дети перестали слушаться родителей, и каждый хочет написать книгу».

Фазиль ИСКАНДЕР

Доклада у меня никакого нет, но некоторыми соображениями о творчестве я хочу поделиться.

Меня часто спрашивают: ты русский писатель или ты абхазский писатель? И очень трудно ответить, какой я писатель, потому что до конца я сам не знаю. Я бы избрал такую формулу: что я российский писатель. Но вдруг меня неожиданно спрашивают: «Слушай, а кто тебя переводит?» Ну, всем не объяснишь, что я пишу по-русски. Один мой земляк-кавказец долго у меня допытывался, кто меня переводит, — он сам писал не по-русски и хотел иметь, как ему казалось, неплохого переводчика. Я ему морочил голову; получал от него подарки, чтобы познакомить с хорошим переводчиком. В конце концов я ему признался, что пишу по-русски. Он хотел взять подарки назад, но я не отдал. Я сказал: «Я ж тебя познакомил с переводчиком, а то, что он не хочет тебя переводить, это уже ваше дело». Я это говорю к тому, что это имеет некоторое отношение к творчеству вообще и к сознанию писателя. Я думаю, вот такая некая двойственность сознания писателю свойственна. Как, в общем, и всякому человеку, который осознает, что он когда-то родился и когда-то умрет.

Размышляя о том, что лежит в основе художественного творчества и что лежит в основе того удовольствия, которое мы получаем от него, если получаем, я прихожу к простому выводу, что творчество не имеет никакого другого содержания, кроме свободы. О чем бы писатель ни писал, твор-

чеством, мне кажется, становится то, что он пишет тогда, когда внутри того, что он пишет, конечная идея — это свобода. И, в общем, все мы творим настолько, насколько творим свободу. Но на пути к этой свободе у писателя может быть много разных препятствий. Одно, на мой взгляд, из таких мощных препятствий на пути самоосуществления писательской свободы — это ложная идея, ложное представление о том, каков мир и каким он должен быть. Я хочу дать анализ одного стихотворения известного нашего поэта Багрицкого¹.

В конце 20-х — начале 30-х годов началась коллективизация — это очень драматические события нашей истории, сопровождавшиеся многими и многими трагедиями. Большая часть крестьянства была названа кулаками, считалось, что они очень мешают коллективизации и надо их частично уничтожить — самых плохих, а не самых плохих — выслать в Сибирь. И тогда очень много стихов писалось о кулаках. Я не говорю о стихах просто спекулятивных — их было очень много, я говорю о стихотворении искреннем, сильном, драматичном. И вот поразительное наблюдение — как будто тема этого стихотворения должна прочитываться так: это волк, которого окружили люди, и они его уничтожат, загонят. А вот год назад я перечитал это стихотворение, и вдруг все оказалось наоборот. Это про человека, окруженного волками. Этот драматизм, я думаю, у Багрицкого был подсознательно, он так не хотел написать. Но в стихотворении этом, несмотря на формальную победу над кулаком, против которого все, в том числе и его собственная дочь, второй пласт сейчас прочитывается совершенно ясно, особенно в настроении самого поэта. Он победитель, он с победителем, но почему-то его душит тоска. Кстати говоря, примерно на эту же тему — о кулаках — написаны стихи другими талантливыми поэтами — Павлом Васильевым и Борисом Корниловым. Сегодня можно прочесть в этих как бы обвинениях кулака огромную тайную жалость и любовь.

Я это говорю к тому, что истинный талант, даже если он увлечен ложной концепцией, все равно не может не сказать правды. Но это очень сложный внутренний драматический процесс, в ходе которого поэт, художник может и сломаться.

В свое время у нас было очень много так называемых закрытых тем. Но я думаю, что для настоящего писателя не только нет закрытой темы, но, наоборот, по какому-то инстинкту свободы он как раз устремляется в закрытую тему. У меня в детстве был сумасшедший дядюшка — я о нем написал много рассказов, — я дразнил его, и один из способов был такой: если он сидит в комнате, а кто-то, выходя из комнаты, выразительно закрывает дверь, он

¹ Имеется в виду поэма «Человек предместья». — Прим. ред.

мгновенно устремляется ее открывать. Думаю, писатель такого рода сумасшедший, который все время дверь пытается открыть.

Закрытая тема у нас связана с именем Сталина, и сам Сталин был закрытой темой. Кроме од, конечно. Но у нас в Абхазии к Сталину особое отношение. У нас был свой роман с ним. Недаром говорят, что абхазец, как только его отрываю от груди матери, норовит вцепиться в усы Сталина.

Тем не менее на эту тему я писал — может быть, одним из первых: лет двадцать назад я написал главу в «Сандро» о Сталине. Этим я выполнил небольшой, так сказать, долг, семейный и национальный. Есть такая абхазская пословица «Рукой дурака ловят змею». Я думаю, это может быть определением писателя вообще.

Каждый пишущий знает одну вещь, совершенно законную в творчестве, особенно — в поэзии. Чем дальше друг от друга два члена сравнения, два образа, тем сравнение оказывается ярче. Я думаю, что в этом заложена огромная метафора единства человечества. Если в самом художественном образе нас радует объединение, то, видимо, есть в нас некие силы, которые все-таки могут этот безумный мир привести к какому-то человеческому единству. Но из этого не следует, что я хотел бы Данию присоединить к Абхазии.

Олег ПОПЦОВ

...Вчера я поймал себя на мысли, что я испытываю странные чувства, находясь в этом зале, слыша кругом русскую речь, но понимая, что это лишь эпизодическое общение и этих людей, носителей моего языка, завтра, послезавтра я не встречу на улицах Москвы. И это — последствия нашей сложной и очень противоречивой жизни. То, как ведут эту дискуссию наши датские коллеги, лично у меня вызывает чувство громадной признательности, а также четкое ощущение, что диалог становится нормой и что мы, каждый со своей стороны, работаем на эту высокую и очень важную идею.

В нашей жизни, в нашем обществе мы решаем сейчас очень много проблем. Но для нас, здесь присутствующих, для деятелей литературы, культуры, главенствующим, на мой взгляд, является вопрос: сумеем ли мы отстоять независимость культуры? Понятно, что культура не может быть независима от социальных и политических процессов, которые происходят в обществе. Речь идет о другой независимости и о другой самостоятельности. Речь идет о независимости от влияния бюрократического аппарата. Наша культура привыкла быть послушной. И когда обстоятельства изменились, эта привычка мешает двигаться вперед.

Вторая проблема, которая тоже, на мой взгляд, очень важна для нас всех сегодня. Привычно и даже удобно все просчеты, которые делает общество, отводить во вчерашний день. Каждая новая формация начинала с того, что подвергала резкой критике предшественников, искренне полагая, что с приходом ее как действенной силы все недостатки останутся за спиной. И очень важно, что в нашей стране создаются условия, когда мы себе говорим: ни одно принятое сегодня решение не надо считать абсолютно верным. Мы должны иметь в себе волю и силы пересмотреть его, сказать, если оно ошибочно, — что оно ошибочно, и только тогда двигаться дальше.

В этом смысле сегодня происходит погружение всего общества и его управленческих структур в непривычную стихию правды, когда все знают всё.

В недавнем прошлом управленческие и политические структуры считали, что они не только руководят обществом, но и являются главными производителями правды. Отличительной чертой сегодняшнего времени является тот факт, что общественному мнению возвращают его общественность.

Испокон веков литература в нашем обществе рассматривалась как общественный камертон, оразитель идей и чаяний народа. Это было основополагающей заповедью, которую повторял писатель, преподаватель литературы в школе и даже чиновник, который всегда был уверен, что найдется послушная литература — послушная ему, чиновнику, ибо если она голос народа, то она, значит, его голос. Поэтому не надо думать, что вся перестройка в обществе есть продукт деяния литературы и искусства...

Прошедшие двадцать — двадцать пять лет мы обозначили как «период застоя». История покажет, насколько точен этот термин. Но если его принять, то следует оговориться. Застой практически любого дела начинается с застоя слова. Потому что сначала было Слово. Иначе говоря, литература была лишена возможности быть предвестником перелома. Однако нет правил без исключения. Прогрессивные силы были и в период застоя, они где-то суммировались, они существовали и действовали. В частности, в середине 70-х этот социальный прорыв, проповедь идеи несогласия с установками взяли на себя драматургия и театр. Пьесы Игнатия Дворецкого, Михаила Шатрова, Александра Гельмана, Александра Мишарина — это были переполненные залы, а на сцене вершилось то же самое, что происходит на собственной работе почти любого зрителя, но с одним важным добавлением: в театре торжествовала социальная справедливость. Несколько раньше, в конце 60-х — начале 70-х, эту функцию пробуждения общества — и в этом смысле я не могу согласиться с Василием Аксеновым — взяла на свои плечи деревенская проза. Она выплеснула как главное состояние чувство беды и неблагополучия российской де-

ревни. Это был своеобразный рецидив совестливой литературы.

Сегодня мы ведем острые дискуссии о том, каким должен быть у нас социализм. Я глубоко убежден, что мы должны сейчас построить совестливый социализм. Все остальное приложится. Есть одна характерная деталь: мы часто спрашиваем себя, почему в литературе, почему в искусстве перестроечные процессы возникли сразу, без всякой раскачки. Видимо, потому, что состояние несогласия в обществе находилось уже в состоянии предызвержения...

Чтобы разрушить, нужны минуты, чтобы построить — десятилетия. Нельзя то, что разрушали десятилетиями, построить в несколько часов. Если период застоя, период топтания на месте, исчислялся десятилетиями, то и выход из этого состояния потребует также значительных временных затрат. Поэтому проблемы молодежи в обществе, постижение ею идей перестройки, если угодно, самосозидание, самообразование — это тоже одна из главенствующих задач дня.

В конечном итоге молодежь — это материализованная гарантия необратимости процесса перемен в близком будущем... Сегодня в нашей стране много говорят о молодежи, потому что процессы демократизации, гласности молодежью воспринимаются по-своему, с бóльшим максимализмом, вне соответствия с привычными нормами. Мы имеем дело с любопытным эффектом: однажды общество проснулось и увидело на улицах, в институтах, учебных заведениях совершенно другую молодежь. Долгое время в обществе существовали твердые представления о том, какой должна быть «наша» молодежь. Мы разучились видеть молодежь иной. И это прозрение происходит сейчас, и происходит очень непросто. Молодежь оказалась разная. Но существовала массовая политическая молодежная организация — комсомол. Это было следствие централизации. Было проще понимать не разную, разнохарактерную молодежь, а что-то единое: комсомол и есть вся молодежь. И может, еще один момент прозрения наступил, когда общество поняло, что комсомол и молодежь не тождественные понятия. В статьях конституции записано право молодежи на законодательную инициативу. С точки зрения демократических норм это громадное завоевание. Но всякая статья остается лишь мертвой буквой закона, до тех пор пока нет органического единства между законом и состоянием общества.

Так или иначе, но принципы командно-административного стиля в руководстве проникли и в общественные организации. Общественные организации в нашем обществе перестали быть общественными. Они превратились в проводников идей бюрократического аппарата. Вместо того чтобы сталкивать мнение какой-то социальной группы с мнением управленческих структур, с мнением масс, лидеры общест-

венных структур были проводниками бюрократических идей в массах. Поэтому создание общественного мнения в нашем Отечестве — это в первую очередь возвращение общественным организациям их общественного начала, их демократичности. И терпимости к разным мнениям.

...Постижение молодежью своего места в громадном мире общественного мнения — это еще и факт созревания молодежи. Молодежь в нашем обществе долгое время рассматривалась как сугубо исполнительская сила. Была и осуществлялась теория: вы существуете в мире не для того, чтобы давать идеи, а чтобы выполнять те идеи, которые вам дает государство, подразумевая под этим идеи государственного аппарата. В результате в обществе был блокирован выход молодежи на первые позиции на всех этажах общества. В обществе появился термин «пропущенное поколение». До тех пор пока молодое поколение не поймет, что происходящее сегодня в нашем обществе ее единственный исторический шанс, мы не можем быть уверены в полной гарантии перемен.

Владимир ДУДИНЦЕВ

По моим наблюдениям, перестройка — это не одномоментное событие, наступившее в результате приказа какой-нибудь имеющей силу и власть личности. Это исторический процесс, который возник на определенном этапе всей нашей истории. И поскольку он — процесс этот — возник, дальше он уже идет как часть нашей истории. Вот иллюстрация.

Я очень рано начал писать. В двенадцать лет начал печатать стихи. А в пятнадцать лет уже замыслил какие-то большие произведения. При этом я мечтал о революции 1789 года. Великой французской революции. Я прочитал повесть Диккенса о двух городах, посвященную этому историческому событию, и я возмечтал, что хорошо бы мне тогда родиться, все это наблюдать.

А величайшее историческое явление, которое, по-моему, превосходит событие 1789 года, уже громыало вокруг меня, но этого я ничего не слышал.

Занимался спортом, академической греблей, ухаживал за прекрасным полом. У нас в Москве бывают прекрасные летние ночи. Настолько они прекрасные, что молодой человек совершенно не слышит, не замечает, что в этих ночах могут ехать «черные вороны», набитые арестованными.

Когда я учился в юридическом институте, вокруг меня шли аресты студентов. На моем курсе, где было 180 человек, арестовано — 90.

А я в это время с моей женой (как ее здесь называли — фру Дудинцевой, я ее привлекаю в качестве свидетеля), я

с ней в это время на фоне арестов вел дискуссии. Она меня спрашивала, навязчиво все время приставала: «Кого ты больше любишь — Сталина или меня?»

Не совру. Во мне тогда, незаметный для меня, уже сидел фарисей. Я говорил: «Ну какие несоизмеримые вещи ты хочешь сравнить. Ты — это одно, а Сталин — это совсем другое». Вот так я от ее вопроса пытался увернуться. А потом однажды я сидел на лекции в зале имени Вышинского — тоже историческая фигура. Меня тронул рукой кто-то в спину. Я оглянулся, и у меня сердце упало. Впервые я вступил в контакт с маленькой женщиной, которая таинственно входила в какую-то закрытую дверь, на которой было написано: «Посторонним вход воспрещен». Она мне сделала вот так пальцем. У меня сердце грохнуло вниз совершенно, что доказывает, что я таки знал, зачем она ходит, и что тут арестовывают — я это знал.

Я за ней послушно пошел, и она меня повела по коридору, повела молча и прямо в эту самую страшную дверь.

Там она мне вручила листок бумаги, похожий на билет в Большой театр. На нем было прострочено несколько контрольных купонов. И дала мне адрес на знаменитую Лубянку, чтобы я туда пошел. И я, бедненький — иначе не могу о себе сказать, — тоненьким голосом сказал: «Можно хоть зайти к маме проститься?»

«Нет, нет, — говорит она, — прямо туда, по адресу». И я пошел по адресу. Там меня допрашивали в качестве свидетеля целые сутки. И там моего носа коснулась рука следователя. Сначала я сидел опустив голову, и он мне снизу под нос ударил ребром руки: почему опустил голову? А когда я ее задрал, высоко вскинул, как лошадь, он ударил сверху: почему задрал? И наконец привел ее в нормальное состояние.

Я к чему это говорю? Когда они протокол допроса составили, составили и отпечатали на машинке, то я им сказал: «Вы знаете, у нас на лекции по уголовному процессу профессор Стальгевич говорил, что нельзя механическим способом воспроизводить показания, а надо только от руки». И следователь говорит: «Ха! Еще что тебе говорил твой профессор?»

Вот каков был я. Какова была эта организация. Вот вам моментальный снимок.

В это время происходило создание сталинского режима путем формирования мнения, сознания. Для этого был пущен в ход огромный аппарат пропаганды. Были специальные фильмы, созданные по сценарию Шейнина и по сценарию братьев Тур. Эти фильмы имели задачей доказать нам, что родная мать может быть шпионкой, что родной сын может быть вредителем. Другу не верь. На всех доноси, как только почувствуешь, что неладно. В связи с этим скажу, что я только что прочитал историю испанской инквизиции, написанную Хуаном Антонио Л'Оренто. И интересно: оказы-

вается, такие учреждения имеют общие черты. В частности, принудительные рекомендации — всем доносить на своих ближайших родственников, — они не только по мысли, но по форме, по формуле, по тексту прямо совпадают. Хотя я уверен, что бюрократы, которые обслуживали процесс, направляемый Сталиным, не читали Л'Оренто. А Л'Оренто не знал, что у нас будет в стране в 30-х годах.

Для материалиста это прекрасное доказательство имманентности каких-то особых явлений, встречаемых в человеческой истории. Я продолжал писать рассказы и стихи. Кончил институт, попал в армию, отвоевал, вернулся. Написал рассказ, получил за него премию. Конкурс был объявлен «Комсомольской правдой». Я на этом конкурсе получил вторую премию. Первую — никто. А вторую получил, разделив ее с Константином Георгиевичем Паустовским. Чрезвычайно я поднялся в своем собственном мнении. И тут же меня «Комсомольская правда» приглашает на должность разъездного очеркиста при редколлегии.

Сейчас будет иллюстрация к методу соцреализма. Я в газете считался мастером короткого рассказа, и когда приближался Новый год, меня приглашал или редактор, или завотделом и говорил: «Дудинцев, к Новому году чтоб был новый рассказ в номер. Ты же сам понимаешь: там должен быть комсомол, там должно быть соцсоревнование, там должен быть рабочий класс, там должна быть любовь».

Ну, я в области любви все-таки какой-то опыт имел небольшой. «Вот пять дней, — говорят, — и чтоб был готов рассказ. Можешь на работу не ходить».

Я покупал десять пачек папирос, запирался и начинал себя приводить в искусственное творческое состояние, усиленно дымя, прикуривая от одной папиросы вторую. Ничего не получалось. Я был похож на Пифию, которая становилась над источником, носившим название Гиппокрена и испускавшим ядовитые пары. И она, надышавшись этими парами, начинала предсказывать будущее. Вот так и я, накурившись, надымившись, на второй день начинал чувствовать присутствие Музы. И к концу предоставленного мне срока я выдавал рассказ, приносил его редактору. Тот читал, вызывал редколлегию — смотрите, что он написал.

Печатали, давали внутриредакционную премию. И я продолжал так действовать. В литературе у нас это называлось — соцзаказ. Термин родился где-то в Союзе писателей. Но название было применено кощунственно.

Мне вскорости предстояло узнать, что такое действительный соцзаказ. Я считаю, что этот термин имеет право на существование, но применять его надо к иным обстоятельствам.

Как сотрудник газеты я разъезжал по стране, писал всевозможные очерки и статьи. И сложилось так, что я больше всего занимался людьми творческого труда — учеными и

изобретателями. А так как я был еще и юрист по образованию, то за мною этот круг людей был закреплен. И как правило, это были ученые и изобретатели, отмеченные большим талантом.

Бюрократический аппарат не давал им ходу, и каждому приходилось бороться за свое детище. Как правило, у них ничего не получалось.

У многих рушилась семья от частых специфических эмоций, они приобретали черты ненормального человека. Мне приходилось много заниматься их делами, ходить по министерствам и наблюдать всю эту публику.

А они в свою очередь, почувствовав, что в газете есть такой корреспондент, стали мне нести свои материалы — досье, дневники, всевозможные фотокопии с документов и т. д.

Однажды, разбирая все эти документы, я увидел, что у меня в руках громадное произведение, такое, каких я никогда не писал — ни по жанру, ни по содержанию.

Мне никто не приказывал его писать, сам материал повелевал. Вот это был соцзаказ (социальный заказ). Он пришел ко мне из общества, из социума, и он настолько повелительно звучал, что я отбросил все дела и стал писать этот роман. Он назывался «Не хлебом единым».

Что произошло? Почему я с изобретателями связался? Почему я стал писать этот роман?

Казалось, что это случайно. Но это было не случайно.

В то время Бек начинал замышлять вот эти вещи — критические. В то время уже формировался Тендряков как большой писатель острокритического направления. В то время складывалась целая плеяда молодых писателей, которые здесь сидят, в зале. Они все были критического направления. Это все писатели перестройки. Только одни из нас были более сдержанны, другие были горячее. И поэтому нас постигла разная судьба.

Когда мой роман «Не хлебом единым» печатался, в том же номере печатался Гранин, тогда же печатались «Рычаги» Яшина, и даже благополучнейший поэт сталинских времен Кирсанов напечатал в этом номере хранимую им в столе критического направления поэму, — так что процесс начался в те времена, пошел вперед и его уже нельзя было остановить. А когда немножко растерявшаяся бюрократия потом все-таки спохватилась и собрала свои силы — она дала отбой.

Как сказал Пушкин: «Нас было много на челне; иные парус напрягали...»

А потом буря грянула и раскидала всех — кого куда.

Мне сильно попало по-своему. Попало сильно, но своеобразно. Я тут удивился, каким разнообразным бывает зал, набитый битком коллегами.

Когда только что роман вышел, всем казалось, что начинается новое время.

Повесили в зале громадную стенгазету, освещающую это событие. А один поэт написал такие стихи. Цитирую:

Не удержать и милиционерам
Толпу, что рвется в клуб, нас окружив.
Как видно, не единым «Кавалером...»
Читатель жив.

А когда всего через полтора месяца началась проработка, из той же публики начали выходить добровольцы-писатели, которые меня страшно били болезненными словами. Причем интересно, что самые больные слова говорили женщины. Я давно заметил, что женщины полны страсти. Она хороша, когда дело идет о любви, но когда... Вот что кричала одна: «Если бы фашисты нас завоевали, они нас бы всех перевешали, а этого Дудинцева сделали мэром города Москвы».

А вторая рвала на себе гипюр, через который просвечивала нежная розовость тела. Она рвала и говорила: «Я сидела в лагерях, мое тело хранит еще следы страшных издевательств. А за что же Дудинцев, который не сидел в лагерях, так ненавидит нашу Родину?» Ну и так далее.

Вот еще смешной эпизод. Один писатель написал роман, и там у него есть сцена: сидят американские агенты в московском ресторане и среди них завербованный какой-то москвич. Они ему, американцы, говорят: «Ты видел книгу «Не хлебом единым»? Мы тебе дадим десяток экземпляров, распространи среди советских людей — хорошо разлагает».

История написания романа «Белые одежды» была такая же, как «Не хлебом единым». Только были не изобретатели, а ученые-биологи. Однако тут речь идет не обо мне, а о перестройке. Когда бюрократия нас избивала — это был период застоя. Только та перестройка была остановлена на уже завоеванном уровне. Она не была возвращена к исходному рубежу. И опять-таки общество начало накапливать силы для следующего броска вперед.

Мне кажется, что перспектива идущей перестройки благополучная. Мы можем графически эту перспективу изобразить. Она похожа на линию, восходящую куда-то вверх, в необозримое пространство. Но на этой линии будут зубцы — временные спады, вроде периода застоя, — они еще могут повторяться. Есть такая пила, которая называется волчий зуб. Вот таким я вижу график нашей будущей перестройки.

Пусть волчьи зубцы на этой линии нас не беспокоят. Потому что вслед за ними опять пойдет восхождение. Потому что перестройка — это объективный процесс.

В отношении перспективы перестройки меня больше всего волнует, беспокоит, тревожит одно обстоятельство. Вы, наверное, помните, как Христа Сатана возвел на гору,

показал ему свое царство и сказал: «Это все будет твое, только мне поклонись». Христос ему сказал: «Изыди, Сатана».

Что будут говорить наши прогрессивные деятели перестройки, когда перед ними Сатана расположит бесчисленное количество всяких соблазнов. Сумеют ли они устоять? Или же, как это имело место в первые годы после революции, они начнут опять себе изобретать пайки, дворцы, всякие прочие вещи и найдут какие-то этому новые обоснования?

Но это будет зубец. Народ не разрешит долго этому продолжаться.

На этом кончаю.

Кронид ЛЮБАРСКИЙ

Я хочу здесь поговорить о роли правозащитного движения в перестройке, движения, которое на Западе не очень удачно называют диссидентским. Тема эта — до сих пор табу для советской печати.

Позвольте мне начать с цитат, которые, заранее предупреждаю, покажутся вам общим местом, ибо вы об этом читали и слышали за последние два года неоднократно и в речах М. Горбачева, и в «Правде» — везде.

«В течение последнего десятилетия в народном хозяйстве нашей страны стали обнаруживаться угрожающие признаки разлада и застоя, причем корни этих трудностей восходят к более раннему периоду и имеют глубокий характер...

Почему мы не только не стали застрельщиками второй промышленной революции, но даже оказались не способными идти в этой революции вровень с передовыми капиталистическими странами?..

Источник наших трудностей — не в социалистическом строе, а, наоборот, в тех особенностях, в тех условиях нашей жизни, которые идут вразрез с социализмом, враждебны ему. Этот источник — антидемократические традиции и нормы общественной жизни, сложившиеся в сталинский период и окончательно не ликвидированные и по сей день. Внеэкономическое принуждение, ограничения на обмен информацией, ограничения интеллектуальной свободы и другие проявления антидемократических извращений социализма, имевшие место при Сталине, у нас принято рассматривать как некоторые издержки процесса индустриализации...»

Нетривиальной здесь является дата — март 1970 года, самое начало «застойного периода», и авторы — Андрей Сахаров, Валентин Турчин, Рой Медведев. Что случилось с авторами? Сахаров без суда и следствия был отправлен в ссылку, Турчин после многочисленных обысков и допросов

в КГБ был под угрозой ареста изгнан в эмиграцию, Медведеву, хотя он и остался на свободе и дома, на долгие годы заткнули рот, лишив доступа к легальной прессе...

Кто назвал «застойным» брежневский период не тогда, когда он кончился, а тогда, когда в конце туннеля свет даже и не брезжил? Лев Тимофеев, статья «Где нам искать свое будущее?». Что стало с автором? Был приговорен к шести годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки...

«Сейчас, в эпоху второй промышленной революции, производственные отношения, свойственные единой централизованной монополией, вступают в конфликт с развитием производительных сил».

Нет, это не из ныне популярных статей и выступлений академика Т. Заславской. Это из самиздатовской работы 1969 года С. Зорина и Н. Алексеева «Время не ждет».

Если бы не самиздат — вольная, правительством не контролируемая пресса, — историки бы и не знали, что уже в конце 60-х годов общественное сознание в Советском Союзе поняло, что страна находится в предкризисном (по словам М. Горбачева), а точнее — в кризисном состоянии.

Самиздатовские авторы не только ставили диагнозы, но и предлагали лекарства — и общего и частного характера, — особенно в начальный период правозащитного движения, когда возможность честного диалога с властью еще казалась возможной.

Нынешние идеи и вопросы перестройки, по официальной версии «поставленные самой партией и ее ленинским ЦК», давно и откровенно обсуждались в самиздате. Это идеи правозащитников.

Я вовсе не утверждаю категорически, что М. Горбачев заимствовал свои идеи из самиздата. Но, честно говоря, не исключаю такого знакомства.

Почему я здесь, на конференции, обсуждающей проблемы творческой интеллигенции, говорю о правозащитниках? Потому, что сама правозащитная идеология, диссидентство, с самого начала родилась именно в кругах интеллигенции. Статистические исследования не проводились, но всякий следивший за развитием событий в стране за последние двадцать лет знает, что именно интеллигенция составила основной отряд оппозиции в Советском Союзе. Идеология правозащитного движения, все основные, наиболее плодотворные идеи нынешней «перестройки» родились именно в этом социальном слое. Не зря правозащитников обвиняли в том, что они — чисто «интеллигентское движение», что они «оторваны от масс». Было модно с насмешкой повторять ленинские слова о декабристах: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа».

К сожалению, пока нельзя применить к правозащитникам продолжение ленинских слов о декабристах: «Декабристы разбудили Герцена». История не повторяется в смысле

примитивных совпадений. Но зато можно с полным правом сказать: «правозащитники разбудили Горбачева» — неважно, сознает он это сам или нет. Важным будет лишь то, осознает ли М. Горбачев в полной мере важность и неотложность всех, подчеркиваю, — всех поднятых диссидентством проблем.

Какова же была судьба правозащитников?

Первая реакция властей на появление открытого инакомыслия была рефлекторной — хватать и сажать. Рефлекс впоследствии закрепился и вылился в осознанную, последовательную политику тотального подавления. Уголовный кодекс был дополнен рядом статей, в том числе печально знаменитой статьей 190¹. Широко распространилась практика фальсификации уголовных обвинений против правозащитников с целью не только изолировать их от общества, но и скомпрометировать в глазах населения.

Лагеря наполнялись быстро, в чем, собственно, ничего нового для нашей страны не было. К началу 80-х годов, когда размах репрессий достиг максимума, за решеткой находилось несколько тысяч человек.

Такая реакция властей не могла не оказать влияния на идеологию, тактику и стратегию диссидентства. Конечно, поскольку диссидентство — не партия, единым оно не было никогда и спектр воззрений внутри него всегда был чрезвычайно широк. Я здесь говорю лишь о некоторых преобладающих тенденциях. Так вот, в самом начале движения инакомыслящих его целью было добиться диалога с властью, установить некий *modus operandi*, в соответствии с которым совместными усилиями можно было бы направить страну на путь демократизации и экономического прогресса. Отсюда появление массового феномена «подписантства», коллективных и индивидуальных обращений к властям с указаниями на «ошибки», которые нужно исправить. Комитет прав человека, созданный в 1970 году А. Сахаровым, В. Чалидзе и А. Твердохлебовым, в качестве одной из своих целей ставил «консультативное содействие органам государственной власти в области создания и применения гарантии прав Человека, проводимое по инициативе Комитета или по инициативе заинтересованных органов власти».

Волной репрессий власти скоро показали, что в сотрудничестве они не заинтересованы. В таких обстоятельствах изменилась тактика правозащитников. Адресатом их обращений все более и более становилось мировое общественное мнение, ООН, международные правозащитные организации. Все больше и больше людей уходило в подполье, переходя от открытых выступлений к анонимной пропаганде через самиздат.

Какова же судьба правозащитников, судьба диссидентов в наше время, во время перестройки и гласности? До

конца 1986 года практически ничего не менялось. Интенсивность арестов почти не ослабевала, арестованные продолжали сидеть, пресса продолжала их шельмовать, даже А. Сахаров, как заявило государство устами самого М. Горбачева, был наказан за дело, ибо совершил «противоправные действия».

Поворотный пункт наступил в декабре 1986 года, когда в Чистопольской тюрьме погиб писатель и правозащитник Анатолий Марченко, а через несколько дней М. Горбачев, позвонив А. Сахарову в Горький, призвал его вернуться к «патриотической деятельности».

Через месяц, в феврале 1987 года, была освобождена первая большая группа политзаключенных, положив начало продолжающемуся до сих пор процессу «вялотекущей амнистии». За истекший с тех пор год досрочно освобождено около трехсот человек. И, что еще более важно, политические аресты прекратились. Или почти прекратились.

Следует этому порадоваться? Конечно. Каждый человек — это особая, неповторимая судьба, и если честный и невинный человек оказался после долгих лет на свободе, то спасибо за это. Все так. Но...

До сих пор в заключении остаются еще сотни политзаключенных. Мы поименно знаем почти 400 человек, все еще с обритыми головами находящиеся за колючей проволокой. Но наши знания неполны, знаем мы едва половину, так что фактически их там 700—750. Почему они еще сидят?

Те, кто все же освобожден, были освобождены «по помилованию», хотя о помиловании не просил никто, а требовали реабилитации. Ни один не признал себя виновным. Но перед ними не извинились за украденные из жизни годы, а воровски, тайно помиловали. Почему? На брифинге в МВД было дано разъяснение: «Ходатайства таких граждан рассматривались в индивидуальном порядке Президиумом Верховного Совета СССР. Лица, о которых шла речь на брифинге, заявили о прекращении ими противоправной деятельности».

Это ложь. Помилование не было вызвано «отказом от противоправной деятельности». Юрий Кашлев на Венской конференции, предваряя освобождение, откровенно заявил, что освобождение будет проведено, ибо наличие этих заключенных «осложняет отношения СССР с другими странами». Сначала было принято решение об освобождении — из политической корысти, — а затем у заключенных стали вымогать — буквально вымогать — заявления. Любые заявления. Многие написали: «Законов никогда не нарушал и нарушать не намерен. Не возражаю против своего освобождения». Этого оказалось достаточно. Но почему своим собственным гражданам об обстоятельствах этих освобождений нужно

было лгать, а не сказать хотя бы с той степенью откровенности, которая была проявлена в Вене?

Как же встретили власти вышедших на свободу, тех, кто говорил о необходимости перестройки, когда еще об этом не говорил никто, кроме них? Встретили так, что подтверждают самые худшие опасения: освобождение части политзаключенных не было честным актом самоочищения, а всего лишь картой в политической игре.

Освобожденные политзаключенные не включены в политическую жизнь. Части освобожденных удалось вернуться к своим семьям, но далеко не всем, ибо этому мешают ограничения с пропиской. Еще меньшей доле — их можно пересчитать по пальцам одной руки — удалось вернуться к своей работе, и это касается прежде всего творческой интеллигенции: ученых, журналистов, педагогов. Остальным приходится идти в дворники, лифтеры, истопники. Не то чтобы профессии были позорны, но интеллектуальный творческий потенциал этих людей таков, что страна могла бы использовать его более эффективно.

Люди, жизнью своей доказавшие свою преданность процессу демократизации, до сих пор остаются выброшенными из общества. Но этого мало. Пресса — наша освободившаяся наконец от оков цензуры и страха пресса — продолжает их чернить и поливать грязью. Во всей советской прессе до сих пор не было сказано о правозащитниках, политзаключенных, бывших и настоящих, ни одного доброго слова. (За исключением статьи Ю. Буртина, да и там добрые слова не имеют конкретного адреса.)

Я с глубочайшим уважением отношусь к Егору Яковлеву и к газете «Московские новости», которую по праву считают авангардом перестройки. Но что заставило эту газету выступить с грязной клеветой в адрес Балиса Гаяускаса, и сейчас еще находящегося в ссылке на Дальнем Востоке?

Я лично знаю Гаяускаса, познакомился с ним в лагере. Более чистого, честного и ясно мыслящего человека я не встречал. Гаяускас отбыл двадцать пять лет сталинских лагерей, прошел пыточное бериевское следствие, погибал на Колыме. Вышел на волю в 1973 году и уже на **следующий** день после освобождения пришел к А. Сахарову — обсудить положение в стране и свое место в правозащитном движении. Через четыре года Гаяускаса посадили снова — на этот раз на пятнадцать лет. Он продолжает сидеть, ибо принципиально отказывается написать даже то формальное заявление, которое написали многие.

Почему все без исключения украинские газеты в последние месяцы буквально развернули травлю основателей украинского культурологического клуба, бывших политзаключенных Михайло Горыня и Вячеслава Черновола, Черновола, имя которого на Украине стало легендарным?

Как посмела газета «Труд» после гибели в декабре 1986

года в результате голодовки в Чистопольской тюрьме Анатолия Марченко, молодого рабочего, ставшего писателем, книги которого переведены на все языки мира, выступить с грязной клеветнической статьей о нем? В защиту Марченко, отбывшего шесть тюремно-лагерно-ссылных сроков, выступали Джон Апдайк и Грэм Грин, Артур Миллер и Сэмюэль Беккет, Фридрих Дюрренматт и Чеслав Милош, Эжен Ионеско и Артур Хейли, Клод Симон, Карл Поппер и многие, многие другие. Память погибшего Марченко почтила минутой молчания Венская конференция — за исключением советской и болгарской делегаций. А в это время «Труд» готовил статью, в которой говорилось, что Марченко — уголовник, безудержно восхвалявший фашизм. И это написано не в «период застоя», а в разгар гласности и перестройки. Какой «мастер культуры» это сделал? Почему не нашлось никого, кто поднял бы голос протеста?

Сейчас пресса полна радостного колокольного звона по поводу реабилитации Н. Бухарина и его товарищей — через пятьдесят лет после суда. Реабилитация эта — прекрасное дело, спора нет. Но как быть с теми, кого только что выпустили на свободу, кто недавно скончался в тюрьме или даже продолжает сидеть и сейчас? Когда мы потребуем их реабилитации? Тоже через пятьдесят лет? Ведь придется, рано или поздно придется реабилитировать. Или из «дела Бухарина» никаких уроков не извлечено и никакое это не восстановление справедливости и законности, а просто очередной политический ход?

Многие правозащитники — я отношусь к их числу — не верят, что демократизация и экономическое возрождение страны возможны на пути социализма. Тем не менее мы готовы — в который уже раз! — оказать тем, кто думает иначе, кредит доверия. Согласитесь, что после происшедшего за семьдесят лет это кое-что да значит. Мы готовы, если опыт перестройки это покажет, признать свою неправоту. Это непеременимое условие честного диалога. Но мы ожидали, что и те, кто с нами не согласен, столь же откровенно признают свою неправоту, если избранный сейчас путь результатов не даст, и не закроют возможности иных путей. В конце концов, социализм именуется научным и, как всякая наука, должен признать приоритет эксперимента.

Но я, честно говоря, не расположен спорить о словах. Мне кажется, наша цель действительно едина и довольно проста — построить общество, в котором можно жить. Не так уж и мало. Как это общество будет названо — для меня не очень важно. И я думаю, что на этом мы «сочтемся славою».

В эти дни у нас перед глазами двойная картина русской культуры: с одной стороны, русские из «метрополии», с другой — эмигранты. Думаю, что и мне нужно предъявить свой паспорт: я датчанин, но не эмигрант. Я родился в Дании и не собираюсь ее покидать. Я не припомню случая, чтобы какой-нибудь достойный упоминания датский писатель эмигрировал, с тех пор как Мартин Андерсен-Нексе в 1951 году переселился в ГДР.

Собираясь говорить о критиках, я заговорил о писателях. Надеюсь, что меня простят, если я и далее буду смешивать эти две категории. Я и сам считаюсь и писателем, и критиком и не всегда могу должным образом разделить эти две свои функции. Я хочу говорить скорее о несчастиях критика, чем о его победах. К этому меня обязывает требовательная аудитория, перед которой я выступаю. Мы, датчане, в отличие от наших русских гостей, не можем сказать, что как «творческая интеллигенция» вносим сейчас большой вклад в процесс преобразований в нашей стране.

Формально наша гласность обеспечена уже давно. Это старый, привычный климат общества. Юридически свобода выражения мнений имеет у нас лишь небольшие ограничения. Можно указать на право журналистов не открывать своих источников информации, на обязанность некоторых чиновников хранить профессиональную тайну, на защиту государственных секретов и невмешательство в частную жизнь. Проблемы нашей гласности коренятся не в законодательстве, а совсем в другом. Наши русские друзья хорошо знают в чем — в рынке. Здесь на конференции В. Аксенов, говоря о двух системах — коммунизме и капитализме, — не случайно использовал метафоры «казарма» и «базар».

У меня есть чешский друг Иржи Груша, автор нескольких книг, которыми власти были очень недовольны и в конце концов посадили его за них в тюрьму. Когда он освободился, то уехал за рубеж и оказался в ФРГ, в Бонне. Первое, что он сделал, — это разыскал книжный магазин. Чего только он там не увидел! Словно в пещере Аладина, его окружали сокровища, громоздившиеся от пола до потолка в сверкающих разноцветных переплетах. Здесь было все, опыт и переживания всего мира, выраженные в печатной форме и снабженные иллюстрациями. Это было пиршество духа. Но время продолжало идти и в пещере Аладина. Этот жадный до знаний восточноевропейец постепенно обнаружил, что и художественная литература как будто подчиняется определенному порядку. Многие романы и повести стали казаться ему похожими на справочники, по которым можно научиться всему на свете, начиная от разведения моркови

и кончая упражнениями йоги. Эти самоучители, обеспечивающие прямую дорогу к здоровью и успеху, имеют, как оказалось, свои аналоги в западной художественной литературе. Она тоже предлагает рецепты индивидуального счастья, ставит вопрос о том, каким образом отдельное «я» через кризис и преодоление сопротивления может себя реализовать. Исполнение желаний индивида — блаженство удовлетворения раз и навсегда собственного «я» — было темой всех этих книг.

На этой выставке-продаже, куда попал мой друг Иржи, критик играет роль гида.

Коротко и выразительно — во всяком случае, коротко, ибо этого требует мой главный редактор, — рассказывая о новинках, я веду клиентов вдоль книжных полок, показываю, рекомендую, советую и отсоветываю, пожимаю плечами, качаю головой осуждающе, одобрительно или даже восторженно. Все это происходит очень быстро, так как книги быстро сменяются: старые убирают, выставляют новые. Одна волна следует за другой. То это новое направление в лирике, то новая биография нашего забавного ренессансного короля Христиана IV; на более внимательный взгляд не хватает ни места, ни времени. Возможно, у нас в Дании тоже была «деревенская» литература. Я, право, не помню. Может быть, она существовала в течение нескольких месяцев в 1987 году.

Классический тип критика, который мог бы обозреть все явления в идейно-исторической связи, для которого наибольший интерес представляли бы сами культурные ценности, важные для общества идеалы культуры, — такой тип критика ушел на пенсию. Он удалился в некую «экологическую нишу» вместе с более взыскательной художественной литературой. В Дании невозможно продать так называемые содержательные литературные и культурные журналы тиражом более 1200 экземпляров.

Но, конечно, можно быть не только «обслуживающим» критиком, или, говоря еще более пренебрежительно, — балаганным критиком. Для этого требуется воля, затрата немалых сил и борьба. Всегда приходится плыть против течения. Я полагаю, что эти проблемы для нас и для наших русских друзей общие: в России тоже есть свой ряд «обслуживающих» критиков. Но, как мы поняли в эти дни, есть и те, кто плывет против течения.

Подлинного звания критика заслуживает во все времена тот, кто не только несом движением, происходящим в мире идей, но и сам его порождает, отвергая изжившую себя, но устоявшуюся догматику, имея при этом шансы на победу, но и рискуя поражением.

Но, несмотря на это ролевое принуждение, я все-таки не эмигрирую. Я остаюсь там, где я есть, хотя плюрализм, который свободная конкуренция должна гарантировать,

имеет свои недостатки и остается плюрализмом пещеры Аладина.

Я предпочитаю находиться здесь, поскольку у нас существует плюрализм совсем в другом смысле. В Дании существует разделение властей. Правительство не может безнаказанно действовать против воли парламента. Исполнительная власть в целом не может поставить себя над законодательной и судебной властью.

Если меня заберет полиция безопасности, то решение моего дела не будет заранее лежать в ящике письменного стола какого-нибудь чиновника. Если я захочу эмигрировать в СССР, то это всего лишь вопрос немногих формальностей. И эта легкость эмиграции — еще одно основание, чтобы остаться в Дании.

Когда я отдаю свою книгу в частное издательство, я знаю, что она не будет послана на оценку куда-то вне издательства, тому или иному функционеру в министерстве культуры, который глупее меня. Никакая громоздкая машина не будет приведена в действие из-за того, что я пожелал выразить себя. Ожидание выхода книги не будет окрашено неуверенностью, да и ждать не приходится особенно долго. И если мое издательство в конце концов не захочет издать мою книгу, поскольку оно испытывает финансовые трудности, то есть ведь и другие издательства, которые, может быть, более готовы пойти на риск.

Короче говоря, мне не на что жаловаться, если говорить о процессе издания книги. Разве что книга моя будет стоить дорого и публика не захочет ее покупать.

Проблемы начинаются, когда смотришь вперед. Что случится с моим детищем? Куда книга пойдет? Что с ней станется?

Тут я оказываюсь в своей второй роли — или первой? — в роли критика, готового принять мою замечательную книгу и позволить моей идее шествовать дальше. Куда?

Я бы сказал, что книга фактически исчезает в нашей культуре, которая являет собой смесь увеселительного парка и дома призрения. Я имею в виду то обстоятельство, что благополучие все большего числа датчан определяется системой социальной помощи. Все большее число датчан зависит от администрации. Речь идет не только о твоём советчике по социальным вопросам. Твой консультант в банке тоже глубоко запускает глаза и пальцы в твои дела и решения. Общество развлечений и общество опеки подали друг другу руки и отправились в путь в неизвестное высокотехнологическое будущее.

На моем веку я наблюдал, как Дания развивалась от сельскохозяйственного общества к индустриальному и от индустриального — к обществу, где услуги стали доминирующей отраслью. В юности меня учили, что общество не может жить стрижкой друг друга, но когда я стал взрослым, то,

к большому моему удивлению, обнаружил, что, как ни странно, может! Ранее мы производили инструменты и машины, теперь человек сам стал машиной, если, конечно, его не отключили, то есть не оставили безработным. Мы выращиваем идеальных служащих в цветущей культуре предприятий. Партия — извиняюсь, предприятие — удовлетворяет все твои потребности, обеспечивает твоё социальное положение. Ты лишь не должен придерживаться крайних мнений насчет Южной Африки и не очень принимать сторону палестинцев. И по большому счету, профсоюзы молчат обо всем этом.

Ясно, что средства информации играют невероятно важную роль в обществе услуг, которое поэтому называется также и информационным обществом. Фактически можно не видеть действительности, но лишь получать информацию о ней. В этом зале со многих мест не видно выступающих из-за обилия телевизионных камер и техников-операторов с проводами, подведенными к их головам. Недавно я следил за событиями в зале на маленьком мониторе оператора телевидения. Я видел много интересных подробностей, когда, например, камера была направлена на импозантную бороду Льва Копелева или на авторучку Кронида Любарского, которой он темпераментно размахивал. Происходящее подвергалось редактированию в то самое время, когда оно происходило.

И если вернуться к вопросу о роли критика, то я бы дал следующий совет: хочешь утвердить себя как критик — стань телевизионным критиком! В твоём распоряжении огромный материал, который струится вниз со спутников и течет по кабелям, выходя в мир многочисленных телевизионных программ. Как телекритик ты можешь, между прочим, довольствоваться писанием о самом себе: твоё восприятие телевизионных программ само по себе становится новостью. Об остальном тебе не надо беспокоиться. Плюрализм внутри средств видеоинформации гарантирует нечто противоположное многообразию, а именно — нивелировку.

Я посылаю свою книгу в этот мир. В этот самый момент реализуется моя свобода слова, но тут же она и обесценивается в нивелировальной машине, в которую превращается наше информационное общество.

Я хочу коснуться ещё одного — последнего — аспекта моей темы. Я ведь не только датский критик, я живу в плюралистическом обществе, которое называется — Европа. По большому счету, Европа простирается от Урала до Гибралтара. Как известно, Милан Кундера этого не признает и не позволяет ей заходить за Буг. Но вчера Василий Аксенов поставил его на место, как это сделал в своё время и Иосиф Бродский. Что ж, давайте признаем, что европейский плюрализм — это плюрализм с большими проблемами.

Однажды мне представилась возможность задать Евге-

нию Евтушенко вопрос: есть ли у него контакты с восточно-европейскими интеллектуалами, которых он уважает? Не могу сказать, что я получил четкий ответ. Может быть, Евтушенко был рассеян или был занят чем-то другим, — как бы то ни было, я ничего не понял.

Не существует ли — спрашиваю я — определенный русский нарциссизм, который приводит к тому, что вы не особенно интересуетесь проблемами вне вашей собственной страны?

Наталья ИВАНОВА

Коренные москвичи знают, что у нас в Москве неподалеку друг от друга стоят два памятника Гоголю. И это памятники двум разным Гоголям. Сперва был Гоголь работы скульптора Андреева, замечательный памятник, где Гоголь — страдающий, сострадающий, несчастный, задумавшийся человек в какой-то женской шали — сидит, грустно окруженный своими героями. Когда-то он стоял в начале одного из московских бульваров. Но в начале 50-х годов мимо этого Гоголя, на его несчастье, проехал автомобиль со Сталиным. И вождю не понравилось грустное выражение лица у Гоголя. И он не скрыл это от окружающих. И уже через какое-то короткое время памятник запретили, куда-то увезли, а на его месте установили совсем другого Гоголя. Теперь это был литературный генерал — помесь Чичикова с Хлестаковым, который стоит, широко расправив бронзовые плечи, с оптимистической улыбкой вглядываясь в автомобильную гарь. В 58-м году, когда у нас немножко «потеплело», несчастного Гоголя, того старого, первого, настоящего Гоголя, вытащили из запасников и поставили во дворе домика, где Гоголь умер. И вот такой «полуреабилитированный» Гоголь сидит на задворках Москвы. До сих пор ему не возвращено его законное место.

Вот так, в общем, и с нашей нынешней литературной ситуацией. В нашей литературе и сегодня существуют как бы два Гоголя. Два лика. Я не говорю об эмигрантской и советской литературе. Я имею в виду нашу отечественную, нашу современную советскую литературу.

В середине 1987 года в редакции журнала «Коммунист» состоялся «круглый стол» историков. В разговоре приняли участие три академика, член-корреспондент, доктор и кандидат наук. Были какие-то оттенки, естественно, в том, как они оценивали ситуацию. Но в одном они были едины: в том, что историческая наука не смогла за последние два года сделать того рывка, который сделала литература. А только что в газете «Московские новости» была такая карикатура: маленький мальчик сдает экзамен по истории и спрашивает учителя, как отвечать: по учебнику или как было? Вот

литература, в отличие от истории, показывает, как было. Публикации последних двух лет как бы корректируют наше историческое национальное сознание. Литература сегодня создала свою историческую версию, во многом оппозиционную официальным воззрениям, закрепленным в многотомных, тисненых золотом, исторических трудах. Я говорю о таких авторах, как Юрий Трифонов, Александр Бек, Анатолий Рыбаков, Владимир Дудинцев, Василий Белов (я имею в виду его «Кануны» — роман о коллективизации), Борис Можаяев. Я согласна с Галиной Андреевной Белой, что литература 70-х годов очень много сделала для очищения нашего исторического сознания. Поэтому здесь можно говорить не только о тех произведениях, которые появились в последние два года.

Из более молодых можно назвать Кураева, о котором вчера очень интересно говорил Андрей Донатович Синявский. Потому что в этом фантастическом повествовании впервые дан взгляд на Кронштадтский мятеж с другой стороны, а не с той, с которой у нас в литературе смотрели раньше. Литература дает свою концепцию 20-х, 30-х, 40-х, 50-х и даже уже 60-х и 70-х годов, то есть пишет историю современности.

Наши историки сейчас гораздо охотнее рассуждают о сталинизме, чем о том, что происходило в 60-е годы. У них еще нет исторической концепции. А Владимир Маканин в повести «Один и одна», опубликованной в журнале «Октябрь» в начале 1987 года, постарался дать анализ человека «шестидесятых годов», — присутствующие здесь «шестидесятники» меня, наверное, поймут. Правда, Маканин назвал это поколение несостоявшимся поколением. Я совершенно не согласна с этим его определением и выступила по этому поводу в «Литературной газете». Но интересен сам факт — то, что уже существует полемика вокруг этого произведения.

В общем, у нас сегодня создалось целое направление, которое я обозначаю как «новая историческая проза». Возникает вопрос, насколько эта проза исторически точна. Это очень сложный вопрос, поскольку писатели фактически были лишены возможности пользоваться архивными материалами. Их архивом были они сами, опыт их семьи, трагический опыт их друзей и близких.

В прошлом году я была в Эстонии и в Союзе писателей встретила с одним из старейших эстонских писателей — это было в послеобеденное время, он был очень усталый и бледный. Я работаю в журнале «Дружба народов», и мой журнал интересуется литературами республик, входящих в СССР. И я стала расспрашивать его, над чем он работает сегодня. Он сказал, что пишет роман о 20-х годах. Я спросила, какими архивами он пользуется, — это был разговор в апреле прошлого года. Он ответил, что его пустили в архивы, но запретили что-либо выписывать. «Так что все сведения я

ношу вот здесь», — сказал он и показал на голову...

К сожалению, у нас действительно присутствуют силы торможения, о которых вам еще здесь никто не говорил. Так что вокруг литературных публикаций на историческую тему идет очень серьезная борьба.

Это напоминает такую игру в ватерполо, когда играют не по правилам и под водой бьют ногами в незащищенный живот. Ну, например, в нашу эпоху гласности и перестройки газета «Правда» выступает со статьей трех историков, которые, указывая все свои регалии, очень сурово, в запретительском тоне, пользуясь политическими ярлыками, пытаются остановить все постановки пьесы Шатрова «Дальше, дальше, дальше...». Шатров не самый мой любимый драматург. Я Чехова люблю больше. Но такой подход к оценке меня возмутил. Такие публикации ставят в тяжелое положение и критику. Они завязывают нам рот, и мы теряем возможность независимого критического высказывания. Вполне вероятно, что у меня мог бы возникнуть критический взгляд на пьесу Шатрова. Но в этой ситуации я не могу выступать с отрицательной оценкой этой пьесы. Так создаются новые сложности в нашей идеологической жизни. Но газета «Правда» вслед за тем уже выступила с письмом нескольких крупных деятелей искусства по поводу этой пьесы, поэтому данный эпизод я считаю исчерпанным. Но вообще ситуация очень напряженная. После публикации романа «Дети Арбата» я знакомилась со статьями о романе Рыбакова в нашей периферийной прессе. Я не буду ничего анализировать, я только познакомлю вас с двумя названиями статей. Одна называлась «Арбат еще не отечество». Другая — «Сибиряки в кривом зеркале». Автор последней статьи возмущался, почему Рыбаков ничего не сказал о том, как хорошо воевали сибиряки в Великую Отечественную войну. Он почему-то забыл, что действие романа происходит в 1934 году.

...Новую историческую прозу у нас дополняют очень сильные публикации из литературного наследия. Они тоже корректируют историческое сознание общества. Все вместе они дают альтернативную историю нашей страны, альтернативную той официальной версии, которая существовала в наших учебниках, в наших официальных исторических трудах последнего времени. Я имею в виду «Котлован» и «Чевенгур» Платонова, «Собачье сердце» Булгакова, «Реквием» Ахматовой, «Софью Петровну» Чуковской, роман Гроссмана «Жизнь и судьба», роман Ямпольского в «Знамени». Ефим Григорьевич Эткинд говорил здесь вчера о том, что нам придется в конце концов переписать историю литературы и пересмотреть многие монографические работы о тех или других поэтах и прозаиках. С этим нельзя не согласиться. Но сегодня литература переписывает нашу историю. Правда, постепенно, как мне кажется, за последние два года историки начали оправляться от шока, нанесенного им литераторами.

У нас появилась развернутая историческая публицистика. Как самые сильные я бы отметила материал Поликарпова о Федоре Раскольникове в «Огоньке», статью Сойфера «Горькие плоды» — о Лысенко. Появилась, по-моему, очень интересная статья Головкова о деле Косарева — тоже в «Огоньке». И другие публикации; я думаю, что многие за ними следят. Например, в одном из первых номеров «Московских новостей» появилась публикация, которая называлась «Дочки Арбата». Очень важно, что в этих публикациях, как и в публикациях, связанных с Вавиловым, впервые названы фамилии людей, которые конкретно повинны в гибели других, в доносах. Страна должна знать своих героев. Как она знает теперь фамилию полковника Хвата, который мучил Вавилова. А в статье «Дочки Арбата» названы конкретные фамилии тех людей, которые виновны в репрессиях. И этот процесс, как я считаю, должен продолжаться.

И я хочу поспорить с глубоко уважаемым и высоко чтимым мною Юрием Николаевичем Афанасьевым, который говорил вчера о покаянии. Понимаете, у нас сейчас существуют две концепции, связанные с проблемой покаяния.. Первую точку зрения представил вчера Афанасьев. Она заключается в том, что мы должны признать общую национальную вину. Или — как говорит критик Лев Аннинский — виноваты все. Я с этим глубоко не согласна. Я считаю, что если виноваты все, то никто не виноват. Какие-либо параллели с другими режимами мне кажутся здесь крайне неточными. Потому что в нашей стране в эпоху сталинизма шла война с собственным народом. Это был геноцид, направленный против собственного народа. И делать сегодня народ еще ответственным за то, что происходило, по-моему, крайне неверно.

Сейчас у нас благодаря усилиям многих публицистов происходит крушение старых стереотипов в сознании масс. В частности, рушится стереотип, о котором говорил вчера Юрий Николаевич, — стереотип «враг народа». Происходит очищение массового сознания. Но письма, получаемые сегодня редакциями, свидетельствуют о распространенности вульгарного, или, как назвал его Юрий Буртин в своей замечательной статье в журнале «Октябрь», простодушного, сталинизма. Этот феномен еще требует своего социологического исследования и психологического объяснения. Достаточно сказать, что когда в первом номере журнала «Дружба народов» был напечатан цикл стихотворений Булата Окуджавы, связанных со Сталиным, я получила очень много писем. К сожалению, должна вам сообщить, что не меньше 80 процентов авторов писем горячо возмущены этой публикацией.

...Пишут, много пишут; и я считаю, что правильно «Огонек», и «Знамя», и «Октябрь», и наш журнал «Дружба народов» печатают эти письма представителей вульгарного сталинизма. Только так мы можем формировать наше общест-

венное мнение: показать разные точки зрения и только тогда может идти какая-то борьба за свою. А что касается общественного мнения, то я хочу рассказать об одном семейном эпизоде. Две недели назад я с дочкой — она у меня учится в седьмом классе — была на гастролях ленинградского балета. И они поставили легенду о манкурте Чингиза Айтматова — как человеку завязывали голову, потом она ссыхалась и у него исчезала память, он превращался в манкурта, он все забывал — и становился рабом. И когда моя дочка увидела, как все это происходит в балете, она сказала мне: «Боже, какой ужас, а где же тогда было общественное мнение?»

И я надеюсь, что сегодня оно все-таки вырабатывается. В этом процессе нельзя не опереться на значение человеческих документов. Это — третье направление публикаций. Я могу сказать, что, например, в журнале «Дружба народов», в третьем номере, печатаются письма Зощенко Сталину и дневники Зощенко, и я считаю, что это очень важный историко-человеческий документ. В четвертом номере нашего журнала публикуются воспоминания профессора Рапопорта о деле врачей.

...Но происходящее сегодня отнюдь не всем нравится. Включаются силы торможения. Один писатель даже сравнил процесс, идущий сегодня в нашей литературе, с автомобилем: он говорит о том, что когда его учили водить машину, ему объяснили, как определять, что вытекает тормозная жидкость. Свою статью, в которой он резко критикует Залыгина (за статью «Поворот»), возвращение Одоевцевой и вообще многие начинания толстых литературных журналов, он заканчивает образно — что запах тормозной жидкости он уже чувствует, имея в виду, что тормоза у нас уже отказали и пора останавливать машину. Вот я категорически не могу с ним согласиться, но я до сих пор не могу напечатать статью, в которой я свое несогласие высказала...

Еще существует группа, которую я для себя определила как «новые эстеты». Они говорят: ну конечно, это неплохо, что все это сегодня публикуется, но это маловысокохудожественно, есть у нас такой термин. Вот писатель Рекемчук в газете «Литературная Россия» сказал о романе Рыбакова: «Это проза для ленивого...» А после того, как журнал «Знамя» напечатал замечательную повесть Бориса Пильняка «Повесть непогашенной луны», критик Владимир Гусев в «Литературной газете» сквозь зубы похвалил эту публикацию, но строго заметил погибшему Пильняку: «Так прозу не пишут». Член редколлегии «Литературной газеты» Светлана Селиванова в дискуссии об итогах года сказала, что процесс публикаций не должен быть бесконтрольным, что сначала надо разобраться, а потом печатать, потому что потом «разбираться будет поздно».

Накопление информации, которое производит литература,

не может быть бесконечным. И сейчас, когда начали широко публиковаться исторические документы и исследования, литература должна все-таки думать о том, что она прежде всего литература, и искать свои специфические формы исследования и анализа исторических процессов. Я думаю, что в кино, например, феномен тоталитарного режима исследован Абуладзе в очень интересной условной форме, хотя я тоже не со всем могу согласиться. Или в фильме Германа «Мой друг Иван Лапшин» объемность исторического характера тоже воссоздана очень интересно. Что меня немножечко настораживает — это повышенная серьезность исторической беллетристики сегодня, ее монологизм. Мне кажется, что очень жаль, что в этом процессе почти не участвует смеховая стихия. Потому что «Пирры Валтасара» Фазиля Искандера показывают, как можно с помощью гротеска, смеховой стихии тоже проанализировать режим. Все-таки Маркс правильно сказал, что человечество смеясь должно расставаться со своим прошлым.

Тем более, что наша история — это такой страшный, трагический гротеск. Вот, например, происходит XVII съезд, названный впоследствии «съездом победителей», и Сталин шутит, все время шутит, понимаете? И все время идут ремарки: «Смех в зале, продолжительные аплодисменты». Он любил пошутить, чтобы всем было понятно. И я сама тоже пошутила, прочитав это: «Продолжительные аплодисменты, переходящие в пожизненное заключение или хуже того». Как известно, половина делегатов XVII съезда в течение ближайших четырех лет была уничтожена. Это были те самые, которые смеялись сталинским шуткам в зале. Разве это не гротеск?

А закончить я хочу стихотворением как бы историческим, поскольку оно написано в 49-м году, в эпоху «борьбы с космополитами», еще не опубликовано, так что это моя первая, устная его публикация, но оно будет напечатано в одном из ближайших номеров журнала «Дружба народов». Это стихотворение поэта Николая Панченко.

Страна лесов,
Страна полей,
Упадков и расцветов,
Страна сибирских соболей
И каторжных поэтов.
Весь мир хранит твои меха,
Но паче — дух орлиный;
Он знает стоимость стиха
И шкурки соболиной.
И только ты, страна полей,
Предпочитаешь сдуру
Делам своих богатырей
Их содранную шкуру.

Лешек Колаковский сказал однажды, что в социалистических странах идеология для аппарата — это тяжелый горб, от которого он, аппарат, если б и хотел, никак не может избавиться.

Но идеология для аппарата, для власти — это не только сковывающий движения горб. В идеологии лежит оправдание существования этого аппарата, этой системы — ее легитимация. Стало быть, этот горб жизненно необходим для нее, как необходим горб для верблюда.

Всякое изменение Системы должно быть согласовано с идеологией, или же идеология должна быть видоизменена таким образом, чтобы оправдать изменение системы.

Вдруг мы с удивлением узнаем, что Ленин общечеловеческие ценности ставил выше классовых. В этом тезисе — суть «нового политического мышления».

Идеи перестройки и гласности восходят, говорят нам, к идеям Ленина и Октябрьской революции. Нужна другая модель социализма, не сталинская и не брежневская — говорит, например, Александр Бовин.

Ясно, что другой точки отсчета, нежели Октябрь и Ленин, у советских руководителей нет и быть не может.

А вы могли бы предложить им что-то другое?

Самоубийством кончат ни одна партия не собирается, тем более партия правящая.

Как бы мы к этому ни относились, но надо признать за данность, и здесь я полностью согласен с Афанасьевым: есть государство с однопартийной системой, есть партия, которая утверждает, что она еще в 1917 году получила от населения мандат на власть с целью строительства коммунизма. В теории марксизма-ленинизма отказ от власти не предусмотрен. К тому же — и это тоже реальность, которую надо признать, — другой партии, кому можно было бы передать власть, попросту нет.

Если перестройка победит, то Горбачев, можно сказать, спасет идею социализма, — мы отвлекаемся сейчас от вопроса, какой строй на самом деле в СССР — социалистический или какой-либо другой, — спасет эту идею, по крайней мере в глазах западных левых.

Но одно дело западные левые, и совсем иное — советский человек «с улицы». Для последнего слово «социализм» абстрактное понятие. Существует формула, созданная «простыми людьми»: «лишь бы войны не было». В этой немудреной формуле заключена память о глубокой травме, и в ней же — легитимация «снизу» существующего строя. Нагнетание военного психоза во времена Брежнева — Черненко, антиядерная истерия, война в Афганистане — все это способствовало устрашению простого человека, его смирению перед обстоятельствами безотрадного бытия с очередями и

дефицитом.

Партия выступает как гарант того, что войны не будет. Но в новых условиях, когда советско-американские отношения движутся к разрядке и «образ врага» разрушается, когда и «простые люди» поймут, что США совсем не собирается напасть на СССР,— что будет оправдывать в глазах обычного человека трудности его повседневного существования? Молодые люди, выросшие после войны, вряд ли будут довольствоваться формулой «лишь бы войны не было».

Эта формула — пример негативной, как говорят политологи, легитимации.

Но на негативной легитимации далеко не уедешь.

Нынешнее руководство сознает необходимость выработки новой позитивной легитимации. Контуры ее можно уже угадать. Точкой отсчета, как я уже сказал, остается Октябрьская революция и гуманистическая интерпретация Ленина. Эсхатологическая идея коммунизма отходит в тень. Говоря о 1917 годе, теперь отмечают не только провиденциальную роль партии, ведущей народы согласно известным ей историческим законам к коммунизму, но и роль самого народа: «народ выбрал социализм». Партия, таким образом, следовала воле народа.

Итак, утопические элементы марксизма-ленинизма, надо полагать, будут редуцироваться. Социализм все больше и больше будет ассоциироваться с товарно-денежными отношениями. Об идее «монолитного единства» общества тоже придется забыть. Вместо этого выдвинут тезис о «социалистическом плюрализме».

Идеология потеряет свою теологическую завершенность и красоту. Вместо трансцендентных сияющих вершин будут говорить о благосостоянии «здесь и теперь». ореол пионеров новой цивилизации будет, таким образом, постепенно утрачиваться. Кроме того, власть будет оправдывать себя традицией. Ведь чем дольше существует какая-либо власть, тем больше она может ссылаться на то, что она власть традиционная, что к ней давно привыкли, что такова уж наша «национальная судьба».

В Дании, например, монархия легитимирована традицией. Но с традицией здесь сочетается и негативная легитимация: датчане скажут вам, что выборы президента — не будь монархии — обходились бы налогоплательщику дороже, нежели расходы на королевский двор (будем иметь также в виду, что монархия в Дании — не реальная власть, а красивая декорация и символ).

Для нашей темы неизбежен вопрос о соотношении советской традиции и традиции русской. Формулам: «Все мы родом из Октября» и «В 1917 году народ выбрал социализм» — легко противопоставить формулы: «Русская история началась до 1917 года» и «1000 лет назад народ выбрал христианство». Эти две последние формулы пооснователь-

нее официальных. Официальной идеологии противостоит, на мой взгляд, как более серьезный противник не сталинизм, который, в общем, не столько идеология, сколько чувство, парадоксальным образом связанное с эгалитаризмом масс, не сталинизм — конкурент официальной идеологии, а русское национальное самосознание. Спектр тех, кто претендует на выражение этого самосознания, довольно широк: от либералов до погромщиков. Но получилось так, что «русская идея» в последнее время ассоциируется не с академиком Лихачевым, а с именами писателей-«деревенщиков». Кажется, что либералам, «западникам», социалистам в советском обществе, какими бы патриотами они ни были, — ведь «деревенщики» не имеют патента на патриотизм, хотя и хотели бы его иметь, — всем этим людям придется или уже приходится примыкать к официальной идеологии эпохи перестройки, если они хотят в перестройку внести свой вклад или если они не хотят быть в одном лагере с Астафьевым и Беловым.

Такая поляризация культурных сил — не наблюдавшаяся, скажем, в Чехословакии в 1968 году — опасна, но она факт. Горбачеву куда легче договориться с Рейганом, чем Астафьеву с Эйдельманом.

Новая идеологическая ценность, служащая легитимации КПСС на мировой арене, заключается в идее, что социализм или, конкретнее, Советский Союз спасет всю человеческую цивилизацию. Ни больше ни меньше. На меньшее, чем спасение всего человечества, русский человек, как известно, не согласен.

Официальная идеология подчеркивает — не без основания — свой интернациональный характер: для нее идея коммунизма или социализма выше любой национальной идеи.

В отличие от этого «русская идея» зовет скорее к изоляционизму. Она призывает к чистоте собственного дома, чистоте рек и озер и — не у всех, но у некоторых представителей этой идеи — и к чистоте расовой.

Таким образом понятое православие отказывается за ненадобностью от изначального христианского интернационализма («несть ни еллина, ни иудея»). Зато официальная идеология, усвоив эту христианскую ценность, может использовать ее в своих интересах.

В центре экологически понятого православия не столько человек и борьба за свободу каждого отдельного человека (этим занималось и занимается правозащитное движение, либералы), сколько среда обитания человека и память о предках.

С другой стороны, официальная идеология явственно перенимает у христианства его язык: Горбачев взывает к честности, совести, говорит об общечеловеческих ценностях, которые ведь не что иное, как ценности христианские. Газеты пишут о покаянии.

Экологически понятое православие отвергает идею плюрализма.

Горбачев, признавший «социалистический плюрализм», пошел дальше, чем некоторые публицисты в эмиграции и в СССР. Валентин Распутин, например, видит в плюрализме неформальных организаций «растаскивание идей» («Литературная газета», 1 января 1988 года), то есть что-то очень плохое. Он видит колоссальную опасность и в социальном расслоении народа, которое признано теперь с официальной стороны нормальным явлением.

Если для христианства ни один грешник не потерян, то Распутин четко видит, где добрые и, особенно, где злые — «люцеферисты», по его терминологии.

Итак, руководители страны осознали, что нужны новые идеологические ценности. Без интеллигенции этих ценностей не создать.

В условиях гласности интеллигенция будет предлагать новые — может быть, хорошо забытые старые — ценности, а власть будет отбирать некоторые из них. И это уже хорошо. Плохо разве то, что у власти сегодня одни, а завтра — другие. Допустим, однако, что будущие кандидаты на власть еще в школе будут прорабатывать «Котлован», «Доктора Живаго» и «Реквием». Само по себе это ничего не гарантирует. В 1963 году в политическом лагере особого режима в Мордовии я и мои товарищи, а также и наше начальство читали «Один день Ивана Денисовича». Все рецензии на эту повесть обязательно включали фразу: «это не должно повториться». И именно тогда же мы находились в условиях в некоторых отношениях худших, чем Иван Денисович. Могли ли мы всерьез верить в то, что наступила оттепель?

И все же большинство из нас радовались, читая «Ивана Денисовича» в условиях голода, холода и тотального унижения. Оставалась надежда, может быть иррациональная. Надеждой мы живем и теперь. И эта наша встреча в «Луизиане», — куда приехали, без преувеличения, выдающиеся деятели культуры, — эта встреча показывает, что надежда эта не такая уж призрачная.

Григорий БАКЛАНОВ

У нас дома никто не поверит, что мы были в Дании и трое суток сидели, не выходя из этого здания. И никакой Дании не видели. Самые острые ощущения испытал Сергей Есин — он каждое утро купался в море. Но мы слышали великолепную песнь о Дании Клауса Рифбьерга. В отличие от него, мои товарищи и коллеги не спели песни о своей стране, а честно рассказывали о том, что в ней происходит.

О трагическом в ее истории, например. Говорили так, как мы дома говорим. И о своих надеждах. И я с большим интересом услышал вчера заявление Нильса Барфорда — цитирую: «Мы находимся в обществе русских, которые не любят самокритики». Может быть, не знаю... У нас был писатель Геннадий Фиш, ныне покойный, однажды в Финляндии он спросил финна: «Каким вы себе представляете русского человека?» Тот ответил: «Это очень угрюмый и лишенный юмора человек». Фиш сказал: «Как странно, я именно таким представлял себе финна». Я это говорю к тому, что, может быть, попробуем взглянуть друг на друга не через свои сложившиеся предубеждения, а более реально.

В моем родном городе Воронеже во время войны восемь месяцев стоял фронт. Город разбили. А вот в овощехранилище, куда спрятались женщины и дети, больше ста человек, снарядов не попало, но оттого, что все время снаряды рвались рядом, от сотрясения рухнула крыша и задавила их всех, и никто вначале даже не знал, что они погибли. Если бы разразилась война между нами и Америкой, то так погибли бы очень многие страны, совершенно безвестно, пускай в них даже не попало бы ни одного снаряда. Это я сказал в связи с тем, что вчера кто-то заметил, что мы слишком увлеклись нашим далеким соседом и слишком много уделяем ему внимания. Мы ему уделяем внимание, потому что для всех нас это жизнь или смерть.

Сейчас замечают, что в последнее время у нас стало больше пожаров, наводнений и даже извержений вулканов. Дело в том, что раньше у нас больше сообщали об извержении вулканов — ну, у вас их нет — в Америке, например. А сейчас мы стараемся сообщать про все, что у нас происходит. И людям кажется, что поезда сходят с рельс чаще. Нашему новому руководству досталось очень тяжелое наследие. Трагедия в Чернобыле произошла сейчас, но заложена она была много раньше.

Говорят, что у победы много отцов. Поражение — всегда сирота. Когда вчера кто-то, не помню кто, говорил, что наша перестройка пользуется идеями самиздата, я понял, что это уже признание некоторых наших побед. Если мы действительно победим, у нас окажется много соавторов...

...Я никогда в своей жизни не служил и не занимал никаких должностей. Вот Гладилин может подтвердить. Но когда началась перестройка, мне предложили стать редактором журнала, я им стал и полтора года жизни этому отдал. Потому что создалась возможность изменить нравственный климат общества. И для этого ничего не жалко. Да, у нас есть очереди в магазинах, как сегодня кем-то отмечалось. И еще какое-то время будут. Но, я вам скажу, у нас сегодня удивительно интересная и богатая духовная жизнь. И мы верим, что если продлится этот процесс, то вырастут очень здоровые поколения детей, которые станут взрослыми. И

совершить такой смелый поворот в гигантской стране, вы знаете, — это может только здоровое духовно общество, здоровый духовно народ, несмотря на все беды и несчастья. И мы не собираемся кончать самоубийством. И партия не собирается уходить от власти — я могу успокоить одного из наших оппонентов. Спасибо за внимание.

Олег ПОПЦОВ

Мне представляется очень важной атмосфера, в которой идет тот или иной разговор. Если в разговоре один человек берет на себя роль обвиняющего, предполагая, что другой якобы должен защищаться, то это диалог относительный. Мне кажется, что мы со своей стороны старались быть крайне тактичными, и хотя мы присутствовали на датско-советской встрече и, по логике вещей, должны были бы больше говорить о взаимоотношениях датской и советской литературы, мы подошли с пониманием к реальной обстановке и вели диалог с нашими соотечественниками, которые сейчас за рубежом.

Мы понимаем, что и среди наших соотечественников существуют разные точки зрения относительно тех процессов, которые происходят у нас в стране. Но мы приехали сюда не для того, чтобы говорить, как мы мало сделали. Мы приехали сюда говорить и о проблемах, которые волнуют нас, и о тех усилиях, которые прилагает наше общество для их решения. И совершенно ясно, что, если мы будем декларировать идеи ультиматума, никакого реального разговора, человеческого разговора у нас не может получиться.

Наши соотечественники за рубежом все время нас предупреждали, что не считайте, что мы так наивны и ничего не знаем. Как говорят у нас, не вешайте нам лапшу на уши: мы все знаем, мы знаем, какие идут процессы, и какая-либо неточность не пройдет. Однако срыв тона, который так или иначе проявлялся у наших оппонентов, есть лишь свидетельство оторванности от той жизни, от тех процессов, которые происходят в нашем обществе. Если идет процесс освобождения, о чем говорил вчера Любарский, то, видимо, нам всем надо радоваться, что этот процесс идет. А не следует срываться на крик, почему он не идет более стремительно, как хотелось бы кому-то. Всякий процесс идет в естественных условиях.

Конечно, каждый человек считает свою собственную проблему главной проблемой жизни. Был задан вопрос: что конкретно делают редактора журналов? Я думаю, что редактора видят свою главную задачу в изменении атмосферы в обществе, в изменении видения истории, прошлого, настоящего, в изменении отношения к таким понятиям, как

социальная справедливость. Мы пытаемся создавать тот общественный климат, который будет климатом уважения, приятия другой точки зрения. Как говорится, у каждого свой крест. Он его несет. И, определяя путь каждой публикации, мы обязаны думать и мы думаем, чтобы после этой публикации появилась следующая публикация. И думать о том, что наш путь — это путь пятиминутный, это тоже незнание реальной обстановки.

Одно только очевидно, и этим я кончу: что бы мы ни делали, как бы мы ни делали, сколь бы мы интенсивно ни действовали, любые наши шаги будут на платформе социализма, в который мы верим, и тут нашим оппонентам придется нас извинить. Другого пути мы для себя не видим. Мы будем исходить из того, что вписывается в эту концепцию, которую мы будем максимально демократизировать, за которую — это не высокие слова — и умирали те, кто умирал во время войны, умирали те, на кого обрушились репрессии. Они, кстати сказать, умирали за идеи социализма, а не против них.

Анатолий ГЛАДИЛИН

Однажды мы с Григорием Баклановым поехали во Францию в группе советских писателей. И руководитель нашей группы, очень милая женщина из определенной инстанции, будем говорить так, которую — я не думаю, что это военная тайна, — мы сразу назвали Эльзой Кох, так вот она нам давала много инструкций, и одна из них была такая: если услышите на улицах Парижа русскую речь — бегите!

С тех пор прошло много времени и много событий, и вот то, что вы сейчас наблюдаете и при чем присутствуете, — это подтверждение некоторой эволюции.

В очень интересном и, может быть, даже знаменательном докладе Юрия Афанасьева говорилось о всеобщей консолидации и о том, что надо помогать процессу, который происходит сейчас в нашей стране, и помогать перестройке.

Я не знаю, разве профессор Эткинд, когда впервые опубликовал книгу Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» — и не только на русском языке, но добился того, что она стала бестселлером во Франции, — разве он этим не помогал перестройке?

В свое время в Союзе писателей и Василий Аксенов, и я довольно резко выступали против сложившейся системы в литературе, что в конечном итоге привело к нашему отъезду. Сейчас то же самое, а может, и резче и аргументированнее пишет в своих статьях Наталья Иванова, и не только пишет, но и печатает их. Понимаете, мне не хотелось бы счи-

гаться, я попросил у вас слова и вашего внимания для другого. И это будет самое важное в моем выступлении.

Я хочу рассказать о человеке, который был бы счастлив присутствовать в этом зале, слушать все выступления и общаться с советскими товарищами — не под покровом ночи, как это бывало в Париже, когда к нему приезжали, а вот так, свободно, хоть и под внимательными взглядами товарищей из посольства. Я говорю о Викторе Платоновиче Некрасове, который, увы, не дожил до этого дня. Юрий Афанасьев призывал менять стереотипы, ломать привычное мышление. Давайте!

Когда Вика Некрасов выходил из радиостудии, он мне обычно говорил: «Голя, одного я не понимаю, почему меня до сих пор не назначили членом редколлегии «Нового мира». Я отвечал, что не знаю и что действительно странно. Потому что Вика Некрасов еще даже до перестройки находил в «Новом мире» какие-то хорошие вещи и очень их хвалил. Вот Григорий Бакланов стал чиновником — я тоже стал чиновником, правда, в разных учреждениях. И я могу отвечать за все то, что говорил, и за все, что писал Виктор Платонович Некрасов, потому что я ему эти материалы заказывал и я их пускал в эфир. Если мне не верят, я предлагаю: есть специальные службы в Советском Союзе, я не знаю, как они точно называются, но я их называю службами перехвата, которые распечатывают для себя все наши материалы. Я предлагаю назначить специальную комиссию из любых людей в Советском Союзе, которые внимательно просмотрели бы все передачи Виктора Некрасова, все, что он делал о литературе и об искусстве, чтобы установить, можно ли теперь все это печатать в советской прессе.

И я предлагаю пари Григорию Бакланову, и, чтобы оно было справедливым, я ставлю ящик водки против бутылки кефира. Я уверен, что все, что говорил о литературе Виктор Некрасов, — все теперь можно печатать. Сколько раз — и это тоже зафиксировано — мы с ним перед микрофоном говорили о том, что сейчас в Советском Союзе удивительное время, что сейчас действительно праздник для советского читателя. И что такого интенсивного появления настоящих книг давно не было.

Все, о чем я рассказывал, происходило в парижском офисе американской радиостанции «Свобода», имя которой для советского человека звучит как табу и от которой советский человек должен отскакивать, как от змеи...

Начну с моего собственного выступления в последний день датской конференции. И начну я так не от мании величия, а потому, что чем дальше и дальше уходит в прошлое эта встреча, тем острее ощущается одна из основных ее проблем: «мы» и «они», эмиграция и метрополия, слитно или раздельно, как любит спрашивать популярный грамматический справочник.

Прямо скажу, что, попросив слова, я свою задачу видела в том, чтобы сгладить известную напряженность, возникшую в результате этого странного советско-эмигрантского альянса тех дней, когда советские речи чередовались с эмигрантскими, создавая довольно пеструю картину «перестроечных» настроений.

Я сказала:

«Двенадцать лет назад, в годы цветущего застоя, журналист Самуил Рахлин, сидящий здесь, брал интервью для датского телевидения у редактора «Литературной газеты» Александра Чаковского. И в ходе этой беседы Рахлин предложил Чаковскому пригласить в это интервью одного из русских писателей-эмигрантов. Чаковский отказался, мотивируя свой отказ тем, что никогда не сядет за один стол с эмигрантами — этими «врагами народа», «отщепенцами» и «предателями родины». Чаковский тогда предпочел форму монолога, излюбленную до недавнего времени стилистику моей родины.

И вот я счастлива, что на этой конференции наконец-то россияне попытались от монолога перейти к диалогу. Они еще не очень разговаривали, эти россияне, вот за этим столом. Почти каждый солировал и не всегда думал, как отзывается его партия, его песня в сердце собеседника. Но диалог — это сложная форма, намного сложнее монолога. Диалогу надо учиться, а учиться — трудно и не всегда хочется. Наверное, это заложено в нашем национальном характере, что мы очень любим учить и гораздо меньше учиться.

Поэтому меня очень огорчило вчерашнее выступление моего друга, моего коллеги и, в общем, моего единомышленника Кронида Любарского. Я согласна со всей фактической стороной его доклада, но мне показалось, что некоторые оттенки и интонации каким-то образом и, наверное, без его желания, но превратили наших собеседников почти что в подсудимых. Мне показалось, что целый ряд обвинений был как бы переадресован не туда, куда надо. И я понимаю, что именно поэтому сегодня в выступлении Григория Бакланова прозвучала пренебрежительная и очень неприятная интонация. И она меня тоже очень огорчила, потому что Григорий Бакланов и то, что он делает, — это, в общем, гораздо

¹ Статья перепечатана с сокращениями из журнала «SYNTAXIS», 1988, № 27.

больше и намного больше и значительнее, чем этот сегодняшний выпад.

Но я всего-навсего слабая женщина, и мне очень хочется, чтобы какие-то шероховатости, которые имели здесь место, были отнесены за счет того, что мы, обе стороны, обе половинки россиян, немного недоучившиеся школьники в диалоге, и у этого могут быть довольно серьезные последствия.

Эмиграции из Советского Союза уже семьдесят лет. И было их три. Первая, послереволюционная, эмиграция была гораздо сильнее, значительнее, интереснее и великолепнее, чем мы. В ней были Бунин, Бердяев, Ремизов, Лев Шестов, Цветаева, Ходасевич и многие-многие другие — крупнейшие деятели русской культуры. Вы думаете, мир их слушал, когда они пытались что-то рассказать про нашу страну? Нет, мир их не слушал. Плевал на них мир...

Вторая эмиграция, послевоенная, принесла в Европу рассказы о сталинском терроре, о лагерях, о казнях, обо всем том, в чем сегодня признаются советские газеты. И вы думаете, мир их слушал? Ничего подобного. В 47-м году в Париже состоялся процесс Кравченко, на котором французские коммунисты доказывали, что все рассказы Кравченко о концлагерях и 37-м годе — это клевета.

Но сегодня сложилась ситуация новая и необычная. Карта легла так, что нравится это кому-то или не нравится, но мир нас слушает. И мне кажется, что это очень существенно должно изменить соотношение между страной и эмиграцией. Из изолированных систем мы стали сообщающимися сосудами, и мир смотрит на нас сегодня как на каплю крови нации, взятую на анализ. И миру не безразлично сегодня, что мы, третья эмиграция, ее писатели, ее журналисты, скажем о перестройке.

Мы очень разные. Точно так же, как в метрополии, в эмиграции есть силы перестройки и силы торможения. И мне хочется сказать Григорию Бакланову, что Любарский — это сила перестройки на Западе. Что его журнал «Страна и мир» и мой журнал «Синтаксис» — вот два журнала, которые поддержали перестройку. Может быть, сегодня мы ничего не можем сделать в стране, в стране, которая останется НАШЕЙ страной, но мы очень много можем сделать здесь. И я не останавливаюсь перед тем, что некоторые группы эмигрантов называют меня «рукой Москвы». Но если я в Москве не боялась КГБ, то неужели я здесь буду бояться Максимова? И поэтому опять же рецепт у меня один: давайте учиться разговаривать.

Мне понравилось выступление Гладилина, но мне кажется, что он не довел его до конца. Сейчас, при некоторой подвижности ума, в принципе вы можете радиостанцию «Свобода» разорить, забрав у нее и у других радиостанций целый ряд людей, забрав их себе, в свои журналы, в свои

газеты. В конце концов, почему бы не попробовать сделать Парижское бюро «Либертэ» филиалом «Нового мира»?

Итак, в начале марта под Копенгагеном, в музее «Луизиана», состоялась трехдневная конференция.

В таких масштабах встреча советских и эмигрантских авторов происходила, сколько помнится, впервые в нашей истории. Доброжелательные и гостеприимные датчане, естественно, побаивались, как бы дискуссия, в ходе которой высказывались иногда полярные точки зрения, не обернулась скандалом, обычной российской перепалкой, обменом взаимными обидами, обвинениями и оскорблениями. Это было бы просто-напросто срывом конференции, концом разговора, который не успел начаться. Ни советская, ни эмигрантская стороны, надо сказать, тоже не стремились к роковому исходу. И потому все обошлось более или менее благопристойно, без перехода в состояние гражданской войны.

Правда, советским административно-ответственным лицам (редакторам Бакланову и Попцову, например) порою приходилось давать короткий «отпор» зарвавшимся эмигрантам, демонстрируя, что советские люди всегда стоят на платформе социализма и с этого общего места их не сдвинешь. Это можно понять. Тем более, что в амфитеатре, над ареной, немым укором и призывом к бдительности весомо, грубо и зримо восседали ликторы из советского посольства в Дании, в соотношении приблизительно два посольских на каждого советского, а эмигранты вели себя куда более агрессивно, нежели советские, как это свойственно вообще лицам беспечным и неорганизованным.

Но те и другие приехали, чтобы обсуждать проблемы, а не устраивать друг другу обструкции. Да и советская делегация, за редким исключением, проявляла деликатность и веротерпимость, хорошо понимая, что искомая перестройка это еще не блистательный результат, а только начавшийся процесс, сложный и трудный, который ничего не стоит задержать и повернуть обратно, а вот как продолжить — вопрос. Они принадлежали в большинстве к тому же либеральному кругу, что и мы, эмигранты, — лишь с урезанным правом публично говорить все, что они думают. Но несмотря на эти — все еще урезанные — права, они говорили так свободно, так самокритично и искренне, что я невольно примеряла их речи к расценкам десяти-, пяти- или даже трехлетней давности: вот эта фраза котировалась в наши времена по 70-й статье, а эта — по 190-й... И я не ревновала, что, дескать, в нашем полку за такое сажали, а эти... «разрешенные», «посланные»... я радовалась тому, что наконец-то **такое** можно говорить.

Профессор Ефим Григорьевич Эткинд в своем докладе рассказал, как в Советском Союзе долгое время

господствовала обстановка ненависти, по вине которой были уничтожены многие писатели и ученые — целый пласт русской культуры. Теперь наступило время собирать камни: толпа теней — писателей и произведений, о которых широкий читатель ничего не знал, — хлынула на страницы советских журналов.

Тут пробежала первая кошка: блестящий доклад Эткинда был исполнен с такой экспрессивной силой, что Григорий Бакланов решил вступить за советскую литературу и начался легкий конфликт. Может быть, прочти Эткинд свой доклад (слово в слово!) не в жестком ритме «глаголом жечь!», а в более мягкой манере: «и плача, и плача, он отрубил ему голову», — полемики не последовало бы.

Мне даже показалось, что это было учтено в последующем докладе Василия Аксенова о русском эмигрантском романе 70-х годов, в котором довольно простая и достаточно оскорбительная для собеседников мысль о преимуществах полифонического романа в эмиграции и вообще о том, что в эмиграции пишут лучше, чем в метрополии, была прикрыта таким великолепным словесным каскадом с кружевами метафор на обшлагах, что за этими турнюрами ее почти никто не заметил, и наш грустный бэби сумел и козу заделать, и с товарищами не поссориться.

По-настоящему обстановка стала накаляться после доклада Кронида Любарского «Перестройка и правозащитники», ибо именно тут перед нами встала проблема — если не воевать (чему мы хорошо научились), то как вести себя за мирным столом?

Гром аплодисментов вызвала эта взволнованная речь у большей части присутствующих и тяжелое недоумение у меньшей.

Я понимала, что никакого хода у наших собеседников, как давать отпор, сегодня еще нет. Мы, эмигранты, сами загнали их в этот сценарий, а дальше все идет как на шахматном поле: если вы становитесь сюда — противник пойдет слоном, а если вы здесь — то ничего, кроме ладьи, он не может. Но почему мы допустили, что разговор опять пошел в стиле «мы — они» и «следующий ход противника»?

Да и то сказать, что бы вы, читатели, любой из вас, сделали, заговори с вами в таком тоне: «Напечатайте! Поставьте! Где вы были, когда мы?... Но так уж и быть, мы согласны оказать вам еще раз кредит доверия»? Что бы вы ответили?

Я чувствовала себя школьницей, провалившейся на экзамене. А ведь начало было таким радужным, и столько было надежды в приветственных словах ректора Копенгагенского университета профессора Ове Натана:

«Насколько я понимаю, гласность — это столкновение русского общества с его прошлым. А для нас на Западе гласность — это возможность духовного воссоединения России с остальной Европой, возможность близкого соприкосновения с душой России. Ваша встреча, ваш диалог заключает в себе большую надежду для будущего, надежду на мир и стабильность. Такого диалога мы ждали долгие годы. Сейчас он происходит, и мы готовы сделать все для того, чтобы он продолжался».

В самом деле, на многое у нас общие или сходные взгляды. Мне, например, позиция Ю. Афанасьева или Фазиля Искандера ближе, чем пылкая непримиримость нашей Пасионарии — Н. Горбаневской. С кем я должна быть солидарна — с авторами директивного «Письма десяти»? ² Из них пятеро к началу «Кёльнского воззвания» ³ почему-то выбыли из списка, который пополнился другими лицами, а один из десяти, Юрий Любимов, не только не сражается сегодня с коммунизмом, но даже как будто собирается ехать в Москву для совместной работы с тамошними друзьями. И пусть едет. Не вижу в этом ничего дурного. Во всяком случае, это лучше, чем, сидя на безопасном Западе, диктовать Кремлю предварительные условия перестройки: дескать, пускай сперва рассыпется Советская власть, а там мы посмотрим. Или, как указано в «Кёльнском обращении»: «Не «перестройка», а строительство заново». Так и слышится: «до основанья, а затем»...

Говорю прекрасному человеку, искреннему, доброму и бескорыстному: Анатолий Эммануилович! Как же так? Ведь если по «Кёльнскому воззванию», которое вы подписали, все пойдет, — моря крови прольются. А он в ответ: Христос Воскресе, Машенька (разговор-то в Светлое Воскресенье был), но разве настоящие революции бескровными бывают? А нужна революция, потому что в стране ничего не происходит, одна пустая говорильня.

— Воистину, — отвечаю, как меня по катехизису учили, — но как же так — ничего не происходит? А «Реквием» Ахматовой, а «Мы» Замятина, а «Собачье сердце», а стихи Бродского? Вы же в прошлом учитель словесности, вы же все должны знать и про силу слова, и про его воздействие на умы и нравственность общества.

² «П и с ь м о д е с я т и» — заявление для прессы с недоверием к идеям перестройки подписали: В. Максимов, В. Буковский, Э. Кузнецов, А. Зиновьев, О. Зиновьева, Ю. Орлов, Ю. Любимов, Э. Неизвестный, В. Аксенов, Л. Плющ (март, 1987 год).

³ «Кёльнское воззвание» подписали: А. Авторханов, В. Буковский, Г. Владимов, М. Восленский, А. Гинзбург, Н. Горбаневская, А. Зиновьев, А. Корягин, А. Краснов-Левитин, Э. Кузнецов, Э. Лозанский, В. Максимов, Л. Плющ, В. Рапопорт, С. Ходорович, Ю. Ярым-Агаев (март, 1988 год).

— Э-э-э,— перебивает мои ламентации Краснов-Левитин,— это все только для маленькой кучки интеллигентов развлечения. А ваше «Собачье сердце» уже даже моя жена читать не будет — слишком тонкая вещь. Нет, нужны решительные действия. Ну, а что до крови, то я сошлюсь, Машенька, на ваш собственный опыт, у меня, к сожалению, такого нет,— вот вы детей рожали, сколько мук и крови приняли, вот и дали миру новую жизнь, как в Евангелии написано... Так что кровь при рождении нового — это не страшно, это неизбежно...

Может быть, думаю я, но только до какого-то времени русские революционеры проливали за **свои** идеи **свою** кровь и поэтому оставались революционерами, а вот когда победили — тут уже кровь полилась **чужая** — и так получилась советская власть... А весь разговор наш происходит по телефону, я в Париже сижу, а собеседник мой о кровавых родах из швейцарского мирного города Люцерн разговаривает...

Смешно предъявлять друг другу заведомо невыполнимые на сегодняшний день, утопические требования. Куда разумительнее и практичнее звучало обращение Ю. Афанасьева на датской конференции с призывом к единению, к консолидации людей самых разных взглядов и позиций, но при условии все-таки «признания некой реальности, которая есть в нашей стране и будет оставаться».

Прочтите полный текст выступления Афанасьева. Прочли? Ну что, ребята? Скажете: опять обман? И какую туфту преподносит нам этот партийный ректор этого эмвэдэшного института? А я бы все-таки попробовала еще раз вступить на эту зыбкую почву — доверия и взаимного интереса. С Афанасьевым. С Искандером. Буртиным. Леном Карпинским. Булатом Окуджавой...

Не знаю, как вам, а мне понравилось выступление Афанасьева. Говоря такие слова, он (в отличие от эмигрантов) сам рискует: перестройка — понятие очень еще хлипкое. Гарантий никаких. Легкий поворот колеса истории — и... все низложены...

Но если оттуда, из Эсэсэрии, сегодня раздаются такие слова, неужто мы не протянем им, пропащим либералам, руку дружбы? С кем тягаться? С кем размежевываться?

Почему сейчас газета «Русская мысль» нападает на «Московские новости»? Сначала писали, что «Московские новости» — это специальный мираж, созданный для Запада — ради отвода глаз. Потом, что это удивительно хитрая штука, публикующаяся в Советском Союзе исключительно для дезинформации. А ведь по средам многие москвичи к 6 утра встают, чтобы купить эту газету, у ее стендов, на Пушкинской площади, всегда стоит длинная очередь. Сегодня «Московские новости» печатают академика Сахарова. Того самого Андрея Дмитриевича Сахарова, члена редколлегии журнала

«Континент», чью ссылку в Горьком «Р. М.» сравнивала с Освенцимом, посвящая малейшей информации о Сахарове передовые статьи и многословные анализы. И вдруг — Сахаров со страниц «Р. М.» исчез, Сахарова как не бывало: не потому ли, что, оставаясь на своих прежних, принципиальных, позициях, он сегодня поддерживает перестройку, считая, может быть, что это полезнее для нашей страны, чем небескорыстное сражение парижской номенклатуры с коммунизмом во всем мире?

То же и с Бродским. «Р. М.» устами Горбаневской твердила, что Иосиф Бродский не будет и не может быть напечатан в «Новом мире». Ни за что, и даже «сам» отрицает. Бац — и напечатали. Прошло несколько месяцев — и... бац! — в «Московских новостях» уже читаем: «Вторая ласточка» — это про то, что в журнале «Нева» еще одна подборка стихов. Со словами Бродского, который просит передать «сердечный привет читателям «Невы» и городу, любимому мной».

Сколько раз на страницах «Р. М.» мы читали слова о том, что русские писатели-эмигранты обязательно вернуться на родину — хотя бы через много лет, после смерти, своими книгами. Почему сегодня, когда началось это возвращение (то есть исполнение желаний и Солженицына, и Максимова, и Горбаневской) и одного из эмигрантов — поэта Иосифа Бродского — начали печатать в советских журналах, русская газета «Р. М.» не радуется? И разве пронзительное послесловие к стихам Бродского А. Кушнера — это не наше общее торжество?

Но не все так просто в отечестве: тут же, вразнотык, статья в «Комсомольской правде», которая кроет Бродского последними словами и в помощь себе зовет — кого бы вы думали? — опять-таки эмигрантов, густо ссылаясь на фашиствующий журнал «Вече».

Не следует ли из этого, что перестроечной журнальной вольнице конец, пора затягивать ремни на последнюю дырочку и возвращаться на скудный самиздатовский паек? Нет, сегодня это может означать совсем другое: что наконец-то советская пресса не единодушна, наконец-то она ходит не в ногу, наконец-то на страницах советской печати появилось некоторое разномыслие, а это позволяет надеяться, что разно мыслит не только пресса, но и те, кто за всеми этими газетами и журналами стоит. Может быть, даже и в самом Политбюро разногласия? Но если так, то это же прекрасно! Может быть, они там уже учатся решать свои проблемы мирным путем, а не только способом дворцового переворота, и еще чуть-чуть, совсем немного, лет двадцать, и у нас на родине тоже будет парламент?

И нам ли здесь, сидя в парижских кафе и мюнхенских пивных, диктовать им условия дальнейшей перестройки? Надо понять, что не нам, а им трудно.

Но диктовали и диктуют. И. Шелковский, например, со

страниц той же «Русской мысли» однажды предложил художникам-нонконформистам в России: пусть выберут, по какую сторону баррикады они находятся. Те, ясное дело, послали его. Но когда живешь в Париже, так бывает приятно побороться с советской властью на московской баррикаде.

Вспоминается давняя уже история, когда один весьма уважаемый бывший диссидент, ныне парижанин, предложил советскому поэту Андрею Вознесенскому, который приехал в Париж получать премию Малларме, выбор: или он немедленно просит политического убежища, или ему будет устроен бойкот и сорван его вечер в Бобуре. Мы сидели в кафе на бульваре Сен-Жермен, и бывший диссидент вдохновенно излагал мне этот план и никак не мог понять мои рассуждения о том, что, как бы ты ни относился к тому или иному поэту, нельзя брать человека за глотку в таком сложном, тонком, глубоко личном вопросе, как эмиграция. И вообще любой человек должен сам решать — только сам и только за себя, — и на какую меру риска он пойдет, и пора ли ему выходить на баррикады или сразу класть голову под топор эмиграции. Бывшему диссиденту, участнику нашего **нравственного** сопротивления, все мои доводы были недоступны — он хорошо знал, что человека нужно заставить, и он не мог согласиться, что каждая человеческая особь есть величина самостоятельная.

Чем кончилась эта кровавая история? А ничем. Вознесенский прекрасно читал стихи. Может быть, от гнева, от напряжения, от ожидания взрыва (утром ему преподнесли газету «Либерасьон», где тот же бывший диссидент популярно объяснял французам, что Вознесенский — это новый Азеф), но читал он так, будто с жизнью прощался, как в последний раз. А жена бывшего диссидента больше никогда не спрашивала у меня рецепт украинского борща...

Мне вспоминаются рассказы о Валентине Соколове (Валентин З/К) — лагерном поэте и вечном заключенном. Он считал, что в Советском Союзе вообще не должно быть писателей, артистов, музыкантов, ученых и прочих лиц интеллигентных профессий, потому что своими оркестрами они поддерживают иллюзию, будто это нормальная страна. Валентин З/К считал, что «Один день Ивана Денисовича», напечатанный в «Новом мире» Твардовского, это акция КГБ и сам Солженицын — чекист, ежели печатается в советском издании. А все настоящие писатели, музыканты или художники обязаны находиться в тюрьме. Взгляд — отчаяния, отрицания всего, что есть и было в советской культуре, всего, что играется или читается, издается, выставляется в Советском Союзе. В этом своем умонастроении Валентин З/К был последовательным. Потому-то он и умер в тюрьме.

Это я понимаю. Но когда эмигранты декларируют то же самое только потому, что они уехали? И «там» ничего не может быть, если мы «здесь»? Но тогда вообще надо все

зачеркнуть. Будьте последовательны, встаньте на точку зрения последнего зэка, Валентина Соколова, и все зачеркивайте!

Но вы сидите на Западе...

Пользуясь случаем, выражаем глубокую признательность организаторам конференции — Союзу датских славистов и Южноютландскому Университетскому Центру — за предоставленные материалы. Мы надеемся, что они вызовут читательский отклик и мы сможем продолжить интересный и важный разговор.

